

М. Кузмин

Две Ревекки



Митин Журнал

М. Кузмин

ДВЕ РЕБЕККИ

Повесть

1917–1918

*Издание подготовили
К. В. Львов и А. Г. Тимофеев*

асебня



Ответственный редактор: Дмитрий Волчек
Верстка: Сергей Фёдоров

© К. В. Львов, А. Г. Тимофеев, вступление,
подготовка текста и примечания, 2024
Митин Журнал, 2024
Асебия, 2024

ISBN 978-5-6051525-5-2

Содержание

<i>К. В. Львов, А. Г. Тимофеев. Смерть господина Векина</i>	5
<i>М. Кузмин. Две Ревекки. Повесть</i>	29

Смерть господина Векина

Перед вами неизвестная повесть Михаила Кузмина (1872–1936) – поэта, прозаика, драматурга, композитора, критика, переводчика. Он был известен и популярен при жизни, основательно забыт на протяжении нескольких десятилетий после смерти (главным образом, из-за своей несозвучности «генеральной линии» советской культуры), затем – в годы перестройки и слома советского общества – интерес, не только читательский, но и научный, к личности и сочинениям М. Кузмина вернулся и, будем надеяться, никогда уже не погаснет.

Кузмин был профессиональным литератором, более того, жил, а в конце своего пути выживал во многом благодаря гонорарам, поэтому доля неопубликованных произведений в его наследии относительно невелика. Кузмин почти не писал в стол, во всяком случае, сознательно (если не брать во внимание немислимую для публикации и постановки в конце 1920–1930-х годов пьесу «Смерть Нерона» и ряд стихотворений советского периода). Таким образом, неизданная повесть «Две Ревекки» есть, в сущности, произведение забытое. Ее белой автограф находит-

ся не в некоем труднодоступном месте, а в личном фонде Михаила Кузмина в РГАЛИ (Ф. 232. Оп. 1. №21), в одной папке с другой повестью, давно напечатанной и известной, – «Картонный домик». Правда, это скорее искусственное соединение, дело рук архивистов, – повести были написаны в разное время.

6 Фактов, связанных с историей текста «Двух Ревекк», очень немного. На титульном листе автором указано время написания повести: ноябрь–декабрь 1917 – январь–февраль 1918. Есть сведения и о перспективе издания – рукописные пометы «Альманах „Эпоха“ | Кожебаткин». Здесь фактическая сторона несколько увеличивается.

Александр Мелентьевич Кожебаткин (1884–1942), сын предпринимателя, был одним из незаурядных издательских деятелей Серебряного века. Он организовал издательство «Альциона», был секретарем символистского книгоиздательства «Мусагет» (но не смог, разумеется, избежать конфликта с Эмилием Метнером), участвовал и в других издательских проектах. В ранние советские годы Кожебаткин стал одним из учредителей библиофильского Общества друзей книги. В революционном же 1917 году он задумал выпускать литературный альманах «Эпоха». Первая книга вышла в 1918 году из стен скоропечатни А. А. Левенсона и собрала *crème de la crème* российской литературы. Согласно Дневнику Кузмина, это произошло в середине апреля (записи от 15 и 16 апреля 1918 г.). В раз-

деле «Поэзия» публиковались новые сочинения Андрея Белого, Валерия Брюсова, Александра Блока, Владислава Ходасевича и В. Ропшина (псевдоним революционера, одного из временщиков 1917 года, литератора и конфиденнта Зинаиды Гиппиус Бориса Савинкова). В разделе прозы была беллетристика Федора Сологуба, Михаила Кузмина, Алексея Толстого, забытого Виктора Мозалевского и эссеистика тех же Андрея Белого, Брюсова и философа Алексея Топоркова.

7

В первую «Эпоху» Кожебаткин взял повесть Кузмина «Шелковый дождь». Она о любви и творчестве: за что любят художника – за него самого или за его творения? О результативности сотрудничества литератора и издателя свидетельствует расписка Кузмина от 20 октября 1917 года в получении гонорара в размере 300 рублей (ИМЛИ. Ф. 189. Оп. 1. № 7. Л. 7; стоит, пожалуй, уточнить, что в Дневнике поэта получение этой суммы относится к 16 октября). Вероятно, адресованная Кожебаткину повесть «Две Ревекки» могла предполагаться лишь для следующего выпуска альманаха. Как бы то ни было, 29 марта 1918 года в Дневнике присутствует запись: «„Ревекк“ не берут». Вторая и последняя «Эпоха» вышла лишь спустя пять лет, в 1923 году, в усеченном, сравнительно с первой книгой, виде, и никаких текстов Кузмина в ней не было. А еще «Две Ревекки» упоминались как неопубликованное произведение в соответствующем перечне альманаха «Дом искусств» (1921. № 1. С. 75).

С тех пор повесть оказалась в забвении на столетие, пока, в конце концов, не попала в предлагаемую вам издательскую репризу.

8 В двух словах, сюжет ее составляют описания отношений внутри любовного квадрата (нередкий случай в творчестве Кузмина), трагическая их развязка. Есть и ретроспективная сюжетная линия, повествующая о «другой Ревекке» и ее тетушке Елизавете Казимировне Штабель. Вообще, название повести отражает зыбкость, двойственность содержания. С одной стороны, речь идет о влиянии судеб двух Ревекк на жизнь главного героя – Павла Михайловича Травина (любопытно, что фамилия главного героя «Шелкового дождя» – Лугов). С другой стороны, нельзя не заметить двуличности Ревекки Семеновны Штек, как в ее словах, так и в делах.

Как это часто бывало в творчестве М. Кузмина, на страницах «Двух Ревекк» появляются персонажи, имевшие реальных и узнаваемых (интимным кругом читателей) прототипов. Разумеется, во внешности, пристрастиях и манерах «руководительницы» Травина, Елизаветы Казимировны, увлеченный историей русского символизма читатель признает теософку, confidentку Вяч. Иванова Анну Рудольфовну Минцлову (1865–1910?). Ее жизни и мнениям посвятил «маленькую монографию» (авторское определение) покойный Н. А. Богомолов. Тайна ее исчезновения остается нераскрытой. До сих пор исследователи и любопытствующие знали только кратко пересказанную версию о самоубийстве Минцловой

в водопадах Иматры, упомянутую Кузминым же в «мемуарной» части Дневника 1934 года. В повести Кузмин не только приводит эту версию, но и критически осмысливает ее.

А другого героя повести, Андрея Викторовича Стремина, пожалуй, вполне возможно сопоставить с его «перевернутым» тезкой – юнкером Николаевского инженерного училища, а позднее подпоручиком 18-го саперного батальона Виктором Андреевичем Наумовым. Кузмин был безрезультатно (не считая прекрасных мистических стихотворений третьей части сборника «Сети») увлечен им в то время, на которое пришлось его частое и близкое общение с Минцловой. Здесь стоит заметить, что и Минцлова, и Наумов уже бывали прототипами персонажей прозы Кузмина: достаточно вспомнить повести «Двойной наперсник» (1908), «Покойница в доме» (1912, публ. 1913). В первой из них, где под фамилией Адвентов выведен и «сопровождаемый выше его юнкером» ее автор, Минцлова является прототипом *Ревекки Михайловны Вельтман*, 47 лет, а Наумов угадывается в *Викторе Андреевиче Фортове*, друге Модеста Брандта.

Несколько слов следует сказать о литературном и музыкальном фоне повести. Коротко его можно охарактеризовать как сентиментальный, романтический. Женское имя в заглавии напоминает о героине романа Вальтера Скотта «Айвенго». Ревекка, дочь еврея и специалистка в области фармакологии, вскружившая голову рыцарю-тамплиеру, обвиненная в колдовстве, – представ-

ляется нам предшественницей заглавной героини повести Кузмина. Во всяком случае, Стремин и Травин всерьез обсуждают, ведьма их подруга Ревекка или все-таки нет. Также на страницах повести упоминается Е. Марлитт (Марлит) – немецкая писательница Евгения Йон (1825–1887), писавшая под этим псевдонимом. Ее достаточно тривиальные романтические романы пользовались в последней четверти XIX века большой популярностью в Германии, а героинь этих романов неизменно отличало упрямое стремление к независимости. С десятков романов Марлитт (имя склонялось как на женский, так и на мужской манер) перевели и на русский язык; среди них «Яхонтовая диадема», а вторая главная героиня повести Кузмина носит фамилию Яхонтова. Встречается в «Двух Ревекках» имя героини знаменитого романа Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза» Юлии, упомянут Жан-Пауль (*фр.* Jean Paul), ныне привычно транслитерируемый как Жан-Поль (наст. имя Рихтер, Иоганн Пауль Фридрих; 1763–1825), автор, среди прочих книг, романа «Цветы, плоды и шипы, или Брачная жизнь, смерть и свадьба адвоката бедных Зибенкейза» (рус. пер. 1899), в котором два друга меняются именами и – следственно – судьбой (в повести Кузмина обсуждаются схожие случаи). Не пренебрегают автор и его персонажи более близким по времени и – вероятно – по духу символизмом, цитируя или вспоминая П. Верлена, М. Метерлинка, В. Брюсова. «Музыкальная дорожка» повести тоже преимущественно романтическая. Главные

мелодии в ней – ранние романтические фортепианные сонаты Л. ван Бетховена, сочинения Ф. Шопена и стилизованная баркарола «Пение на воде» Ф. Шуберта на стихи Ф. цу Штольберга.

Впрочем, романтическая «подкладка» повести свидетельствует не столько об авторском следовании традиции, сколько об ее критическом переосмыслении. Подобно тому как Кузмин подвергает сомнению версию таинственного исчезновения Штабель – Минцловой, так же иронически поступает он и со знаменитыми в русской литературе скандалами героинь Достоевского (они в повести именуются «великосветскими inferнальницами»). Например, нельзя не отметить сходство и в то же время различие между сценами объяснений Аглаи Епанчиной с Настасьей Филипповной («Идиот», ч. 4, гл. VIII) и Анны Петровны с Ревеккой Семеновной («Две Ревекки», гл. 7). В обоих произведениях героини объясняются в присутствии и при деятельном участии заинтересованного дуэта мужчин; в обоих произведениях представительницы «слабого пола» превалируют над мужчинами за счет, вероятно, интеллектуального и эмоционального превосходства, да и просто характера. Именно они выбирают и решают. Сходство заключено прежде всего в подобии, во всяком случае, в рамках упомянутых сцен, поведенческих моделей героинь Достоевского и Кузмина. Показательно, что одна из них с утвердительной интонацией спрашивает другую, любит ли она Достоевского (гл. 7). Различие – в мужских персонажах:

Стремин и Травин мало похожи на Мышкина и Рогожина. А история о птичках и кошке, рассказанная Ревеккой, также находит определенную параллель в анекдотах генерала Иволгина о выброшенной из окна поезда болонке, о том, как девочкой генеральская дочь Аглая застрелила птичку. Нужно отметить и текстуальную похожесть сцены с участием Елизаветы Николаевны Тушиной, тоже дочери военного, и рассказчика в «Бесах» Антона Лаврентьевича (ч. I, гл. 4 «Хромоножка», III) со сценами Анны Петровны Яхонтовой и Павлуши Травина (гл. 1 и 6). Обе дочери военных требуют своих конфидентов организовать им randevu с соперницами, а оба конфидента, втайне примеряя рыцарские доспехи (увы, эфемерные), испытывают своеобразное восхищенное смущение тем обстоятельством, что сильные и решительные девушки не стесняются демонстрировать свои прикровенные чувства, не боятся себя компрометировать. Не случайно потому и эпизодическое, но значимое для Кузмина цитирование в «Двух Ревекках» строчки из комической оперы «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха, в которой иронически показаны причины Троянской войны.

Кроме того, в тексте «Двух Ревекк» внимательный слух исследователя различит эхо авторского построения диалога почти тридцатилетней давности, когда о собственно литературном творчестве Кузмин еще и не помышлял. Конечно, это свидетельство какого-то постоянства его экстравертности, обращенной в процессе развития

творческой личности в драматургический дар и способность конструировать легкие диалоги в прозе. Сравним описание объяснения восемнадцатилетнего Кузмина с барышней Ксенией Подгурской, единственным в его жизни женским объектом интереса и любопытства, и диалог Травина и Ревекки Штек в главе 7 печатаемой повести. Автопересказ объяснения извлечен из письма Кузмина к Г.В. Чичерину от 6 августа 1890 года из Ревеля (так называлась в то время нынешняя столица Эстонии): «Потом я спросил: „Что вы так рано едете?“ – „Меня ничто здесь не удерживает“. – „Решительно, ничто?“ – произнес я с ударением. Она промолчала и потом как бы „в скобках“: „Вы когда?“ – „10-го... через 5 дней“. Потом возвратилась к вопросу: „Ничто“. – „6-го бал, будет весело“. – „Вы, конечно, будете?“ – „Нет, не думаю“. – „Отчего?“ – „Что же интересно?“ – „Будете танцевать, что́ было на прежних балах?!“ – „Тогда были вы“. – „Это невозможно, Мих<аил> Алекс<еевич>, чтобы единственный интерес для вас составляла всего месяц знакомая барышня“. – „Я вам представлен 1-го июля, но я вас видел раньше“. – „Где же?“ – „Немало мест: берег моря, музыка, парк и т. п.“» (Звезда. 1997. №2. С. 160 / публ. А.Г. Тимофеева). Столь же колко и немного язвительно общаются в публикуемой повести Павел Михайлович Травин, двадцати лет, и восемнадцатилетняя Ревекка Семеновна Штек: «Чтобы стряхнуть неприятное впечатление, Травин вымолвил шутливо: „Зачем такие романтические предположения? А еще вы,

Ревекка Семеновна, говорили, что в хорошем настроении сегодня“. – „Настроение приходит и уходит. Что мы можем?“ – „Теперь прошло?“ – „Да. Я очень устала“. – „Вы часто устаете“. – „Разве? По-моему, не очень часто. Впрочем, самой судить трудно“. – „Но вы все-таки повидаетесь с Яковлевой?“ – „Да. Я сказала уже, что повидаяюсь, и даже, если хотите, приведу Стремина“. – „Не знаю, зачем это нужно“. – „Может быть, и понадобится“».

Критическое отношение Кузмина к наследию романтизма, в том числе романтизма автобиографического, который обнаружил себя в описаниях юношеской поездки в Ревель в письмах к Юше Чичерину, не отменяет трагического содержания повести «Две Ревекки». В ней, как и в ряде других текстов поэта, появляется сколь важный, столь и навязчивый мотив утопления – «смерти от воды».

Все зрелое творчество М. Кузмина, от повести (романа) «Крылья» (1905, публ. 1906) до вершинного поэтического сборника «Форель разбивает лед» (1929), пронизано многочисленными эпизодами утоплений (как, впрочем, и кораблекрушений, которые в наше обозрение не включены, за одним исключением). Как в прозаических, драматических, так и в поэтических сочинениях мотив гибели в воде встречается у Кузмина неоднократно, то представляясь отголоском из реальной жизни – чудесного спасения от стихии или ужасной смерти в воде, то выступая своего рода провозвестником жуткого ухода или,

по крайней мере, такой возможности для человека из ближнего круга друзей, из числа знакомых или же современников поэта.

Повесть «Две Ревекки» в описанном отношении не исключение: в ней, кажется, впервые в современной прозе Кузмина появляются женщины-утопленницы – утопившаяся «в норвежской реке» и канувшая по своей воле в воды Невы. До этого момента в его письмах и сочинениях нам известны лишь считанные случаи фиксации гибели или спасения тонувших особ женского пола.

Такова реальная история спасшейся девушки из частного письма двадцатилетнего Кузмина к другу его молодости, будущему советскому наркому иностранных дел Г. В. Чичерину (тоже 1872–1936) от 14 июня 1892 года. То был еще «долитературный» период в жизни Кузмина, и дружеские *gossips* такого рода передавали реальность как она есть, без тени художественного замысла: «Я переписываюсь с Ел<еной> Никол<аевной Мясоедовой>. Она недавно чуть не потонула. Переезжала Днепр в половодье одна, и лодка опрокинулась на середине реки; она (т<о> е<сть> Ел<ена> Ник<олаевна>) была в пальто и совсем было утонула, если б только не ухватилась за канат от парома» (РНБ. Ф. 1030. Оп. 1. № 18. Л. 34). Со счастливицей, избегнувшей гибели, будущий поэт познакомился еще в Саратове, где прошло его детство. Она была дочерью Николая Николаевича Мясоедова (1839–1908), крупного юриста, сослуживца Алексея Алексе-

евича Кузмина, отца поэта, по тамошней судебной палате (до 1883 г.).

16 С литературным и уже мистическим преобразованием мотива утопления мы соприкасаемся в достаточно зрелой «античной» прозе Кузмина – рассказе «Тень Филлиды» (1907), где старый рыбак Нектанеб (впрочем, он же и маг, как и в «Подвигах великого Александра») вылавливает сетями утопающую Филлиду, но, как только в юноше Панкратии просыпается к ожившей девушке нешуточная страсть, извещает, что срок, в течение которого возвращенная к жизни магическим приемом Филлида могла пребывать в *этом* мире, истек... В это время читатели и почитатели Кузмина и его ошеломительной звезды на русском литературном небосклоне уже прочитали стихи об *утонувшем в Ниле* красавце Антиное, любимце императора Адриана, и круг эпистолярного общения нашего автора знал о мифопоэтическом отождествлении Кузминым своей личности с античным красавцем благодаря печатке с изображением Антиноя, след которой и до сих пор не простыл на конвертах его посланий. В кружке «гафизитов» – части посетителей квартиры-«башни» Вячеслава Иванова – прозвищем Кузмина становится имя божественного утопленника.

Эпизод с утопленником вида омерзительного и отталкивающего представлен с откровенно натуралистической фотографичностью в дебютной повести Кузмина «Крылья», содержащей нескрываемые автобиографические эле-

менты: например, как минимум одно подлинное имя действительного лица из путешествия в Италию в 1897 году (католический священник Мори). Независимо от того, положено в основу приводимого ниже фрагмента реальное происшествие (что пока не подтверждено документально) или же описание целиком и полностью плод авторского вымысла, сцена встречи протагониста повести Вани Смурова с обезображенным водой телом становится провозвестником сходной жизненной ситуации, жертвой которой едва не станет сам Кузмин:

17

По всему берегу до стада были купающиеся ребяташки, с визгом бегавшие по берегу и воде, там и сям кучки красных рубашек и белья, а вдаль, повыше, под ветлами, на ярко-зеленой скошенной траве тоже мелькали дети и подростки, своими нежно-розовыми телами напоминая картины рая в стиле Томá. Ваня с почти страстным весельем чувствовал, как его тело рассекает холодную глубокую воду и быстрыми поворотами, как рыба, пенит более теплую поверхность. Уставши, он плыл на спине, видя только блестящее от солнца небо, не двигая руками, не зная, куда плывет. Он очнулся от усилившихся криков на берегу, все удалявшихся по направлению к стаду и землечерпательной машине. Они бежали, надевая на ходу рубашки, и навстречу неслись крики: «Поймали, вытащили!»

– Что это?

– Утопленник, еще весной залился; теперь только нашли, за бревно зацепился – выплыть не мог, – рассказывали бегущие и обгоняющие их ребята.

<...>

– Помните, я вам говорил биографию его жизни, – твердил подоспевший откуда-то Сергей Ване, смотревшему с ужасом на вспухший осклизлый труд с бесформенным уже лицом, голый, в одних сапогах, отвратительный и страшный при ярком солнце среди шумных и любопытных ребят, чьи нежно-розовые тела виднелись через незастегнутые рубашки. – Один был сын, всё в монахи идти хотел, три раза убегал, да ворочали; били даже, ничего не помогало; ребята пряники покупают, а он всё на свечи; бабенка одна, паскуда, попала тут, ничего он не понимал, а как понял, пошел с ребятами купаться и утонул; всего 16 лет было... – доносился как сквозь воду рассказ Сергея.

18

14 (27) июня 1912 года в жизни Кузмина произошло трагическое событие, ставшее на долгие годы его наваждением, «точкой безумия». Увеселительная прогулка на лодке по Финскому заливу, предпринятая жизнерадостной компанией из пяти человек около дачного поселка Териоки (ныне это Зеленогорск), оборвалась гибелью талантливого художника и декоратора Николая Николаевича Сапунова (1880–1912). По сообщению коллекционера Е. А. Гунста, биографа и исследователя художественного наследия Сапунова, «во время перехода Кузмина с места

на место лодка опрокинулась». Подробности отражены в Дневнике Кузмина: «Насилу достали лодку. <...> Было не плохо, но, когда я менялся местами с княжною <Бebutовой>, она свалилась, я за нею, и все в воду. Погружаясь, я думал: неужели это смерть? <...> Сапунов говорит: „Я плавать-то не умею“, уцепился за Яковлеву, стянул ее, и опять лодка перевернулась, тут Сапунов утонул <...>» (14 июня 1912 г.). Спустя более чем год после смерти художника, отвечая на анкету «Синего журнала» «О жутком и мистическом», Кузмин остался предельно немногословен: «Как я тонул в Териоках с Сапуновым» (1913. № 51. С. 5).

19

Поэта и художника в пору их шестилетней дружбы время от времени осеняли общие творческие устремления и совместные планы. В письме от 30 июля 1907 года из Сухум-Кале Сапунов признавался: «Кабы Вы знали, как хочется видеть Вас и говорить с Вами, ведь Вы знаете, как я люблю и ценю Вас, и мне дороги наши дружеские отношения. <...> Несмотря на то что прошлую зиму я пережил столько неприятностей, мне все-таки хотелось бы опять поехать в Петербург, работать на сцене над какими-нибудь новыми постановками» (РНБ. Ф. 124. Оп. 1. №3870. Л. 4–5). Желания живописца исполнились через несколько лет, когда он перебрался из Москвы в Петербург. По переезде он взял на себя подготовку костюмов и декораций к постановке оперетты Кузмина «Возвращение Одиссея» и работал над портретом поэта, который остался незавершенным.

По словам Л. Д. Блок, Кузмин был «в ужасном состоянии» после случившегося, «потрясение на него страшно подействовало». 3 июля 1912 года, еще не излечившийся от пережитого, он информировал о происходящем своего короткого знакомого, издателя Александра Мелентьевича Кожебаткина: «Дорогой Сашенька, все чувствую себя плохо, но помню о всех делах и обещаниях. <...> Воспоминания о Коленке <...> верчу в голове» (ИМЛИ. Ф. 189. Оп. 1. № 7. Л. 2–3). Сохранился ответ Кожебаткина от 11 июля 1912 года с изложением замысла будущей книги, которую издатель хотел посвятить памяти Н. Н. Сапунова: «Видел в „Скорпионе“ экземпляр „Осенних озер“. Великолепная книга! <Сергей Александрович> Поляков придумал относительно ее целый план и просил меня написать о нем тебе. Он хочет, чтобы ты посвятил ее памяти Н. Сапунова и написал соответствующее предисловие, а на деньги, вырученные от продажи книги (рублей 600), собирается поставить памятник (то есть какой-нибудь столбик с бюстом) в Териоках. Мне кажется, что было бы гораздо целесообразнее, если бы почтить память Сапунова изданием альбома его вещей или монографии о нем, да и Сергей Александрович, кажется, уже охладел сейчас к своему плану, но ты все-таки ответь ему что-нибудь на это предложение. Я же окончательно решил издать книгу воспоминаний и статей о Николае Николаевиче и очень прошу тебя в первую очередь приняться за эту работу. Книгу хотелось бы издать

к полугодовщине смерти, следовательно, с этим надо спешить» (РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 2. № 21. Л. 1).

Семя этого замысла дало всходы лишь в 1916 году. Сборник «Н. Сапунов. Стихи, воспоминания, характеристики», куда вошли и отклики Кузмина на смерть друга: стихотворение и «Воспоминания о Н. Н. Сапунове», – выпустил другой издатель, Н. Н. Карышев. Кузмин, переживший в 1913 году еще и самоубийство любимого им Всеволода Князева (1891–1913), смог вернуться к «жуткому и мистическому» касанию смерти только на следующий год – в просветленном стихотворении:

21

Храня так весело, так вольно
Закон святого ремесла,
Ты плыл бездумно, плыл безбольно,
Куда судьба тебя несла.

<...>

Сказал: «Я не умею плавать»,
И вот отплыл плохой пловец
Туда, где уж сплетала слава
Тебе лазоревый венец.

В «Воспоминаниях о Н. Н. Сапунове» мотив утопления прирастает фатализмом и таинственностью, которым суждено сохраниться неизблемыми до поэмы (цикла стихов) «Форель разбивает лед», где среди «непрощенных гостей», пришедших к сочинителю «на чай» (и явно связанных с теми, из статьи «Тс-с!.. Подарки к Новому году» (публ. 1924), кто уже навещал поэта в ново-

годнюю ночь: «Одним словом (брошусь головой в воду), ко мне явились человек двенадцать, один как другой, в одинаковых ливреях, неся одинаковые картонки из гнутых лакированных планшеток с надписями. Пришли, поставили, поклонились и ушли»), – «художник утонувший / топочет каблучком»:

22

Я думаю, что все знавшие покойного <Н. Н. Сапунова> помнят его веру в приметы, серых лошадей, счастливые дни и числа и т<ому> подобное, так же как и его влечение ко всякого рода гаданиям и предсказаниям. Ему неоднократно было предсказываемо, что он потонет, и он до такой степени верил этому, что даже остерегался переезжать через Неву на пароходике, так что нужно только удивляться действительно какому-то роковому минутному затмению, которое побудило его добровольно, по собственному почину, забыв все страхи, отправиться в ту морскую прогулку, так печально и непоправимо оправдавшую предсказания гадалок.

А вообще в облике Сапунова ничто, на первый взгляд, не указывало на его настороженность по отношению к водным пространствам:

Мне (Кузмину. – *К. Л., А. Т.*) он казался олицетворением, или, вернее, самым характерным образчиком молодых московских художников, группа которых была только что выдвинута С. П. Дягилевым. И громкий московский говор, и особли-

вые словечки, и манера при ходьбе стучать каблуками, татарские скулы и глаза, закрученные кверху усы, эпатажные галстуки, цветные жилеты и жакеты, известное рапэнство и непримиримость в мнениях и суждениях – все это было так непохоже на тех представителей «Мира искусства», которых я знал в Петрограде, что мне невольно показалось, что вот пришли новые люди.

23

В том же 1916 году Кузмин напечатал в первом альманахе «Стрелец» повесть «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро», в которой сцена исцеления «бесноватого» Василия Желугина могущественным итальянским путешественником была построена и расписана так, что «литература» уже не опережала «жизнь», выступая провозвестницей трагедии, но брала на себя роль «кривого зеркала» по отношению к трагическому жизненному опыту автора. Подобно тому как в середине 1900-х годов в процессе написания «комедий о святых» были перелицованы три жития из Четых-Миней в редакции св. Димитрия Ростовского, теперь Кузмин сумел обратить в фарс древний ужас собственных фраз «Неужели это смерть?» и (говоря о «жутком и мистическом») «Как я тонул в Териоках с Сапуновым»:

Больной был бос, в одной рубахе и подштанниках, так что можно было опасаться, что он зашибется, но Калиостро имел свой план.

– Кто я?

– Марс с Марсова поля.

- Поедем кататься.
- А ты меня бить не будешь?
- Не буду.
- То-то, а то ведь я рассержусь.

У графа были заготовлены две лодки. В одну он сел с больным, который не хотел ни за что одеваться и был поверх белья укутан в бараний тулуп, в другой поместились слуги для ожидаемого графом случая. Доехав до середины Невы, Калиостро вдруг схватил бесноватого и хотел бросить его в воду, зная, что неожиданный испуг и купанье проносят пользу при подобных болезнях, но Василий Желугин оказался очень сильным и достаточно сообразительным. Он так крепко *вцепился* в своего спасителя, что они вместе бухнули в Неву (курсив наш. – К. Л., А. Т.). Калиостро кое-как освободился от цепких рук безумного и выплыл, отдуваясь, а Желугина выловили баграми, посадили в другую лодку и укутали шубой. Гребцы изо всей силы загребли к берегу, где уже собралась целая толпа, глазевшая на странное зрелище.

В повести «Две Ревекки» Кузмин возвращает-ся к подаче читателям гибели на воде как трагедии с таинственной подоплекой: отказ от самоубийства в воде, насколько возможно судить на основании обзора прозы писателя, доступен только мужчине – пусть даже такому непутевому, как Фёдор Николаевич Штоль, он же Федя-Фанфарон в одноименной повести (1914, публ. 1917), попавший на остров Валаам: «День ото

дня незаметно моя меланхолия и расстройство увеличивались, так что я серьезно стал подумывать о самоубийстве и выбрал для этого место, где утопиться. Очень красиво: отвесная скала, на ней две сосны, а внизу заливчик маленький, но страшно глубокий. И случилось тут такое обстоятельство, что как я встал ночью, чтобы топить, то никак не мог этого облюбованного места найти, а в других местах топиться не хотелось. Итак, значит, я это предприятие отложил, а на следующее утро у меня все как рукой сняло, и к тому же я заболел».

25

Как и травестирированный купальщик Желугин в ледяной невиской воде, в «Двух Ревеках» тонущая тоже «вцепляется» руками в живого героя, но двойной трагедии не происходит... Как не произошла она при крушении судна «Королева Мод» в рассказе «Измена» (1914, публ. 1915), согласно записи в дневнике героини от 5 июля об измене мужу (Артуру) и спасении с ним: «Эти восемь часов, пока часть пассажиров не слизнуло море, другую же не приняло небольшое угольное судно, подоспевшее на помощь, конечно, ужаснее многих лет каторги, на которую впоследствии был осужден капитан. <...> Протягиваю кому-то руку. Все теплее... Крики о помощи. Артур, Артур! Мужская рука держится за мою шею. Со всем у моих глаз странное родимое пятно в форме полумесяца в верхней части руки. Очевидно, мы горим... Какое странное чувство. Я никогда не испытывала ни до, ни после такого сладострастия. Все равно, мы погибли. Я целую и прижи-

маюсь все крепче... Смотрю только на коричневый полумесяц».

26 Реальная нешуточная возможность двойной трагедии будто переключивается из области литературного вымысла с житейским бэкграундом в предстоящую автору «Двух Ревекк» жизнь: 31 августа 1918 года ближайшего друга Кузмина Юрия Юркуна (1895–1938) арестовывают по делу об убийстве председателя Петроградской ЧК М. Урицкого Леонидом Каннегисером. Кузмин записывает в Дневнике: «Я еще спал, слышу шум. Обыск. Начали с Юр. комнаты. Вероника Карловна волновалась. Пью чай. Опоздал в лавку. Вдруг говорит: „Юр. уводят“. Бегу. Сидит следов<атель>, красноармейцы. „Юр., что это?“ – „Не знаю“. Арестовывающ<ие> говорят, что ненадолго, недоразумение. Забрали роман и какие-то записки. „Что это?“ – „Листочки, которые я писал“. Я вовек не забуду его улыбающегося, растерянного, родного личика, непричесанной головы. Я не забуду этого, как не забуду его глаз в Селект-отеле. Сколько страданий ему».

В это время жители Петрограда были уже довольно знакомы со слухами о затоплении большевиками барж с заложниками: это одна из форм «красного террора», которой суждено в ходе Гражданской войны стать практикой не только «красных», но и «белых». Еще 6 августа 1918 года в Дневнике Кузмина появляется запись: «Какая гадость и издевательство запрещение продажи продуктов, которых сами не умеют и не хотят запасать. *Эти баржи с заложниками, которых не то потопили,*

не то отвезли неизвестно куда, эти мобилизации, морение голодом и позорное примазывание всех людей искусства» (курсив наш. – К. Л., А. Т.).

7 сентября Кузмин записывает: «Если с Юр. что-нибудь случится, я убью себя». На следующий день: «Ни думать, ни писать ничего не могу. Ложусь, как в гроб. Тупо. Хотя, да, сегодня получил милое, желанное, длинное письмо от Юрочки. Кажется, немного опоминается. Но, Боже мой, Боже мой, за что ему такая мука? Только бы освободили, только бы выжил, все будет хорошо». 14 октября: «Я стал архибездарен, и потом теряю последнее терпение. А Юр.-то бедный, оплаканный, нежный! каким-то он вернется? Каким бы ни вернулся, я буду его любить еще больше. Деморализует его тюрьма, думаю, и новые дружбы, поклонники. Не забыл бы меня он там. Но главное, чтобы вернулся. А м<ожет> б<ыть>, ему покажется дома очень скверно, холодно, голодно, скудно и хлопотливо! Боже, устрой нас».

Переживания этих дней, как это неоднократно бывало с памятью о гибели Н. Н. Сапунова, спустя семилетие приведут Кузмина к созданию поэтического шедевра из цикла «Северный ветер», который он будет вынужден заменить рядами точек в советском издании сборника «Форель разбивает лед» (1929):

Баржи затопили в Кронштадте,
Расстрелян каждый десятый, –
Юрочка, Юрочка мой,
Дай Бог, чтоб Вы были восьмой.

Казармы на затонном взморье,
Прежний, я крикнул бы: «Люди!»
Теперь молюсь в подполье,
Думая о белом чуде.

28 Юрий Юркун вернулся из заточения в Дерябинских казармах 23 ноября: «Вдруг Юр. звонится из лавки. Боже мой, Боже мой! Бегу на кухню. Выбежал на крыльцо, смотрю. Идет с красным одеялом, родной, заплетает ножки. Так радостно, так радостно. Рассказы без конца. Жилось, в общем, не так плохо и не голодал. Пошли пройтись». Дата избавления Юркуна из советского узилища, судя по всему, перекочевала в стихотворение Кузмина из цикла «Новый Гуль» (1924), хотя ближайший его друг и не был адресатом этого цикла:

Я этот вечер помню, как сегодня...
И дату: двадцать третье ноября.

К. В. Львов, А. Г. Тимофеев

Две Ревекки

Повесть

Глава 1

29

Всякий раз, что Павел Михайлович Травин входил в переднюю генерала Яхонтова, его охватывало чувство ширины и спокойствия, основательности и достатка. И то, что прихожая была светлой, с двумя даже окнами, и тяжелые вешалки со множеством верхнего платья, хотя хозяев было всего двое, генерал и дочь его Анна Петровна, и широкие шкапы, дорожные сундуки с заманчивыми ярлыками заграничных гостиниц, и открывающаяся перспектива просторного коридора в недра, и телефон на отдельном, покрытом синим сукном столе, и восковая свечка в тяжелом шандале (на случай, если бы попортилось электричество), даже кожаные калоши с медными задками и тихо мелькавшая пожилая горничная Феня – все говорило о слегка затонном довольстве и прочности. Казалось, тут нельзя было переставлять мебель, перевешивать картин и вообще производить какие бы то ни было перемены. Но странное дело, что сегодня особенно Травину показалось, что малейшая перемена в жизни генеральской семьи не только

неуместна, но будет и губительна, словно стулья неколебимо стоят, пока прислонены к стене, а тронешь, – и все рассыплется мелкою пылью. Да и у самого генерала при всей его молодцеватости, моложавости и выправке была во взоре такая уверенность и упорство, которое заставляло подозревать, что за нею ничего нет и что человек упрямуется именно потому, что никаких причин и почвы для такого самоутверждения не имеет и не чувствует. Даже чем меньше чувствует, тем больше упорствует. Но, конечно, сам Петр Миронович сочно рассмеялся бы, если бы кто стал ему доказывать, что он человек растерянный и слабый.

У дочери генерала, Анны Петровны, вид был властный и несколько упрямый, в старину ее называли бы «самодуркой». Теперь же все это смягчалось двадцатью тремя годами и не совсем русскою красотою. При смуглой коже барышня обладала нежнейшим румянцем и почти детским, мягким овалом лица, черными, разобранными на прямой пробор волосами, крохотными ушами и очень маленьким ртом, имевшим досадную привычку складываться бантиком. Большие темные глаза и брови дугою делали ее похожею на персидскую миниатюру, старые же приятели ее отца называли ее, лет десять тому назад, «венгерочкой» и «молдаванской куколкой».

Напрасно было бы думать, что при такой наружности Анна Петровна склонна была к лени или какой иной гаремности, была бы дородна

или коротконога. Главная ее оригинальность в том и заключалась, что при томном и несколько восточном лице она была высока, худа, порывиста и резка в движениях, что заставляло горничных, которым не по вкусу была ее строптивость, называть ее кобылой, почему-то «морской». В ее живости была, пожалуй, некоторая суетливость, которую не замечали только, поражаясь мерцанием ее черных глаз. Павел Михайлович сегодня только заметил, что при сильном и подлинном волнении выражение лица Анны Петровны делалось беспомощным и даже жалким, чего он никак не ожидал, считая ее за девушку действительно со страстями, но владеющую вполне своими (да отчасти и чужими) чувствами и поступками.

31

Удивление Травина еще усилилось, когда хозяйка отложила вышиванье и сказала, волнуясь, что ей нужно с ним поговорить и даже попросить о чем-то. Анна Петровна встала, прикрыла плотнее двери, даже приспустила немного занавески на окнах, но не села обратно, а начала ходить по комнате большими, неровными шагами. Ходила она не взад и вперед по прямой линии, а как-то вокруг комнаты, как молотильная, слепая лошадь. Казалось, что, если б брови ее не были так дугообразно устроены, они непременно хмурились бы, а так они только поднялись кверху, причем лоб несколько не морщился.

Павел Михайлович ждал. Он не был влюблен в Анну Петровну, но ему нравилось считать ее красавицей и существом необыкновенным. Ве-

роятно, это было известно и генеральской дочке, и она ничем не разубеждала Травина в таком его мнении. Он был их дальним родственником, знал их дом еще с Тамбова и был как свой в их семье. Павлуше всегда казалось, что у Петра Мироновича жизнь солидная, на широкую, но не фанфаронскую ногу, с традициями и испытанным вкусом. Когда он зачитывался Достоевским, то все великосветские инфернальницы представлялись ему в виде Анны Петровны. И потом, ему совершенно немислимо было вообразить себе барышню Яхонтову в неблагородном, неблаговидном, глупом или смешном положении. Это было жизненно недопустимо. Для него было бы невыразимо приятно оказать рыцарскую услугу, защитить ее, исполнить рискованное поручение, хотя еще приличнее было думать, что она в этом не будет нуждаться. Павел Михайлович был двадцатилетний мальчик с простым, необмятым русским лицом, покрытым пятнистым румянцем, но в глубине души он был романтиком и фантазером, так что такое обожание Анны Петровны, при отсутствии всякой другой влюбленности, легко могло сойти не только за любовь, но и за страсть.

Потому он с нетерпением ждал, что ему скажет, чего от него потребует Анна Петровна, но та все ходила вокруг комнаты и потом задала три вопроса, не имевших, казалось бы, никакой связи между собою. Первый она спросила, не останавливаясь еще:

– Павлуша, вы ведь любите меня?

Травин от неожиданности не поспел ничего ответить, как Яхонтова, подойдя почти вплотную к нему, проговорила, стараясь нахмуриться:

- Вы знаете Андрея Викторовича Стремина?
- Нет.

Анна Петровна досадливо отошла от него и села в качалку и, помолчав некоторое время, снова спросила молодого человека довольно мрачно:

– Вы встречали г<оспо>жу Штек, Ревекку Семеновну?

– Ревекку?

– Да, г<оспо>жу Штек, Ревекку Семеновну.

– Ревекку? Я знавал это имя...

– Имя довольно редкое, но мне интересно знать, не встречались ли вы именно с Ревеккой Семеновной Штек?

– С этой нет, не встречался.

Тогда Анна Петровна словно начала объяснять свои три вопроса, меж тем как молодой человек впал в мечтательность, не то вспоминая, где он слышал имя Ревекки, не то удивляясь тому, что ему говорит барышня Яхонтова. Он даже как будто не понимал, что вот-вот наступила та минута, которой в мечтах он так ждал, что вот Анна Петровна как бы делает его своим конфидентом, поверяет ему секрет и не скрывает при этом, что ей известна его любовь.

Яхонтова меж тем говорила:

– Я знаю, Павлуша, что вы меня любите, хотя вы мне и не говорили об этом, не признавались. Это и лучше, может быть. Вы не думайте, что я вас считаю за ребенка, за мальчика. Нет-

нет! Я очень ценю ваше чувство, и, если бы оно зависело от вас самих, была бы вам очень благодарна. Но ведь это... Это такая область, в которой мы не властны и где наша воля может, пожалуй, только портить... Я, может быть, не совсем то говорю, что нужно... во всяком случае, не то, что хотела вам сказать... Да... что я хотела вам сказать? Вас это удивит, быть может, но все равно – мне не стыдно, потому что вы меня любите... Да и чего же стыдиться? Кажется, это и называется страстью...

Анна Петровна попыталась горько улыбнуться. Улыбка ей не удалась, но, по-видимому, она не обращала на это внимания, занятая своими признаниями. Травин же все не мог прийти в себя от счастья, поняв наконец, что происходит. Яхонтова продолжала страстно и как-то требовательно:

– Вы узнаете всё об этой Ревекке. Не о вашей там какой-то, а о Ревекке Семеновне Штек. Слышите... Потому что мне необходимо знать, какие отношения у нее с Андреем Викторовичем. Вы, кажется, говорили, что не знаете Стремينا. Это все равно. Он мне дорог. Вы представить себе не можете, как он мне дорог. И я терзаюсь, мучусь, с ума схожу, не зная, что там происходит. Может быть, вздор какой-нибудь, да и наверное вздор, иначе быть не может, но мне надо знать, понимаете. Если вы меня любите, Павлуша, вы постараетесь все выпросить у этой Ревекки. Может быть, надо будет притвориться влюбленным; она, наверное, пустышка, эта

барышня, а вы хорошенький мальчик. Конечно, этого не может быть, не должно быть. Бог не допустит этого.

Анна Петровна была в величайшем волнении, Павел Михайлович не только никогда не видел ее в таком состоянии, но даже не предполагал ее способной к таким эксцессам. Чувства его были чрезвычайно спутаны. С одной стороны, ему было лестно, что его «кумир» (он не стеснялся, думая, в выражениях) делает его своим поверенным, и еще в таких, по-видимому, для нее важных делах. С другой, зная про его любовь, она как-то уж слишком не считалась с этим обстоятельством и предлагала ему поступки, очень тягостные для влюбленного человека. Кроме того, она не побоялась показаться ему слабой и совершенно неприкрашенной в своем волнении. Уверена ли она слишком в его чувстве, или ей все равно? Обида за то, что она вдруг упала до такой расстроенности, до такого развала (и почему? из-за кого? из-за какого-то Стремина), сменялась нежною жалостью к ней же, тем более что Анна Петровна совершенно неожиданно расплакалась. Травину не случалось видеть ее в слезах; он вообще не видывал плачущих женщин и не знал, как вести себя в таких случаях. Он осторожно подошел к девушке, положил ей на голову слегка дрожащую руку и тихонько гладил ее черные, не очень мягкие волосы. Она, казалось, не замечала этого, продолжая плакать. Павел Михайлович шептал, растеряв все нежные слова:

– Ну, полно, полно! Нельзя так убиваться. Перестаньте, Анна Петровна, прошу вас, перестаньте. Неловко, может войти генерал.

36 Да, гордиться Травину своей избранницей было нечего: она вела себя как самая обыкновенная, влюбленная и слабая женщина, но еще бóльшая нежность (может быть, именно от этого) его наполняла. Анна Петровна продолжала его не замечать, но, может быть, от механичности его движений, мало-помалу, стала успокаиваться. Наконец она подняла свои заплаканные, немного виноватые глаза на мальчика и произнесла тихо:

– Вы ведь любите меня, Павлуша?

– Ну конечно! – ответил он, как ребенку.

Яхонтова вздохнула, посидела еще немного и, встав, поцеловала Травина сухими, бледно-розовыми губами. Потом произнесла другим уже тоном, по-старому улыбаясь:

– Вы ходите туда, не правда ли?

– Я схожу, но где живет эта особа?

– Ревекка Штек? Разве вы живете не у Льва Карловича Сименса?

– Да, я у него квартирую.

– Так она же ему племянница или какая-то родственница. Наверное, вы ее даже встречали.

– Не там ли я слышал это имя?

– Возможно. Так сделаете? Теперь пойдем; папа ждет, вероятно, с обедом.

Не дойдя до дверей, Анна Петровна приостановилась и проговорила деланно небрежно:

– Конечно, вы не будете болтать?

Хотела еще что-то прибавить, может быть, извиниться за свою слабость, но только внимательно взглянула на мальчика, пожала ему руку и вышла окончательно в соседний покой.

Павел Михайлович тщетно старался вспомнить, как он нанял комнату в квартире г-на Сименса, он даже с трудом воссоздавал в воображении эту самую комнату, такую обыкновенную, земную, с тяжелой мебелью и пыльными портъерами. Зато он необыкновенно ясно вспомнил одни сумерки, когда вдруг за стеной кто-то заиграл на рояле. Обыкновенность положения (сумерки, стена, рояль) усиливалась еще тем, что играли Шопена. Не поэтическая обстановка поразила Травина, а сходство, сходство. Играл словно слепой или загипнотизированный человек: пальцы повиновались будто не его воле, то вдруг рассыпая бисер (опять погоняемый в гром золотой косой дождь), то бессильно тыкая не в те клавиши, бесформенно булькая не врозь аккордами, останавливаясь, засыпая, без ритма и темы, и опять нежно, чисто, ручьем гнались невидимым дыханием. Ни искусства, ни особенного толка не было в этой игре, но что-то большее, какая-то сила неопределенная и затягивающая... и опять не в этой игре, а в той, которую она напоминала.

Травин лег на холодный кожаный диван в изнеможении, хотя секунду перед тем готов был распахнуть дверь в соседнюю комнату с криком «Елизавета!». Ему вместо печальной комнаты виделось другое, тоже не очень веселое, помещение с окном под самым потолком и розовыми обоями, в котором словно плавали белесоватые глаза Елизаветы Казимировны Штабель, в то время как она сама разыгрывала в гостиной через три комнаты сонаты Бетховена и Шопена. И сам Травин представился себе тогдашним семнадцатилетним мальчиком. Тридцатипятилетняя г-жа Штабель казалась ему старухой; или, вернее сказать, он относился к ней так, что не приходило в голову вопроса о ее возрасте. Она была ему матерью, старшей сестрой, обожаемой руководительницей – всем. И это сделалось помимо его воли, странными токами из огромных белых глаз, которые так и остались плавать у него в розовой комнате. Как все это печально кончилось! А Ревекка! ах да, вот она где, Ревекка! Он не был в нее влюблен, а совсем в другую, имени которой он даже теперь не помнил... ни имени, ни лица, ни подробностей этого почти гимназического романа. Было довольно глупо, но Ревекка умерла, умерла от тифа, но Елизавета Казимировна сказала, что девушка умерла для него, для его спасения. Действительно, все как будто успокоилось, то есть не успокоилось, а кончилось, провалилось куда-то; и девица, в которую он был влюблен, и коварный приятель, и вся их компания. Ревекка, та умерла. А ку-

да девалась г-жа Штабель, знаменитая, пресловутая Елизавета Казимировна? Тоже умерла, и как странно, – утопилась в норвежской реке! Впрочем, она обыкновенно и не могла кончить, эта полная льняноволосяя пророчица, ходившая, мягко ступая на пятки, близорукая, на все натывавшаяся, в магическом полусне бродившая по сонатам Бетховена. Ее уроки ясновидения. Павел Михайлович ощущает теплые полные руки у своей шеи, сладкий запах ладана и «Нильской лилии»*, чувствует теплоту полной груди, его смаривает сон, и сонный голос г-жи Штабель твердит где-то:

– Смотрите, смотрите, вы не можете не видеть, Павлуша. Напрягайте силу, не гоните воображения: оно не мешает, помогает наоборот, ведет...

Травин смотрит через кристалл на расчерченный лист бумаги, в глазах у него зелено.

– Зелень какая-то... – бормочет он конфузливо.

– Да-да, зелень... Луг или поле... Смотрите еще.

Мальчик воображает, что по полю кто-то едет верхом, сочиняет целую историю, ему не-

* «Нильская лилия» – один из сортов парфюмерии (одеколон, духи), разработан в 1880 году крупным производителем парфюмерной продукции в России – франко-русской фирмой «А. Ралле и К^о». Опосредованный ввод египетской темы может быть связан в авторском сознании с поездкой М. Кузмина в Египет в 1895 году, но вряд ли с повестью О.И. Сенковского (Барона Брамбеуса) «Микерия – Нильская Лилия. Перевод древнего египетского папируса, найденного на груди одной мумии в фивских катакомбах» (1845).

ловко, стыдно и жарко от близости руководительницы. Ладан и особенно «Нильская лилия» кружат ему голову...

Ничто не оправдалось. С Елизаветой Казимировной это случалось, но друзьями в вину ей не ставилось, но врагами повторялось с удовольствием. Как у женщины в сущности доброй, настоящих врагов у г-жи Штабель не было, но находилось немало охотников относиться к ней пренебрежительно и насмешливо. Анекдоты о ней не переводились и распространялись далеко за круг ее немалочисленных знакомых. Даже о самой смерти ее передавали как-то легкомысленно: будто бы, принадлежа к тайному обществу, она провралась и, будучи присуждена к смерти, бросилась в водопад, причем благодаря своей дородности долго не могла погрузиться в воду и перекатывалась с камня на камень. Кроме того, что такие рассказы были неприятно и непонятно жестоки, рассказчиков, очевидно, мало смущало, что тайные общества со смертными приговорами существуют разве только в кинематографических драмах и что Елизавета Казимировна погибла не в водопаде, а в обыкновенной, хотя и норвежской реке.

Травин, хотя и потерял из виду Елизавету Казимировну и воспоминание о ней сохранил тяжелое и не очень благодарное, возмущался такими рассказами и отзывался всегда о погибшей наставнице как о существе необыкновенном, одаренном большой, почти чудодейственной силой. Тем более что г-жа Штабель потонула,

что бы там ни говорили, на самом деле, серьезно и безвозвратно.

42 Смерть Ревекки не возбудила никаких толков, так как девушка была мало кому известна и причина ее смерти была медицински естественна. Только Павлуша сохранил, может быть, внушенное ему, сознание, что эта черненькая, почти незнакомая ему родственница г-жи Штабель умерла для его счастья. Может быть, она его любила. Он видел ее три раза. Проходя по узенькой гостиной, он заметил у окна Ревекку, которая шила какой-то зеленый лоскут. Подняв узкие, страшно пристальные глаза на гостя, она печально сказала:

– Тетя сейчас выйдет. Подождите.

Сложив свое шитье, она прибавила вдруг:

– Сколько вам лет, Травин? Ведь вы – Травин?

– Вы угадали. Семнадцать лет.

Девушка помолчала, будто высчитывая что в уме, потом проговорила серьезно:

– Ну что же? Не так мало, – и вышла из комнаты.

Второй раз Ревекка вся сияла весельем, ласковостью и трогательною миловидностью. Они катались по взморью, и приятели Травина, и Елизавета Казимировна, и профессор Чуб. Молодая луна прозрачно плыла по смуглому небу, тени чернели, как рыбы кости, по мокрым берегам тлели костры, и Ревекка пела Шуберта «Auf dem Wasser zu singen»*. Павел Михайлович

* «Auf dem Wasser zu singen» («Петь на воде») – вокальное сочинение Ф. Шуберта (оп. 774; 1823) на стихи

вдруг заметил, какой вострый и маленький носик у певицы, а та рассмеялась и, сняв шляпу с белыми лентами, стала махать покидаемому морю, не прерывая пения. Третий раз он видел ее в гробу. На похоронах почти никого не было и из маленькой группы выделялась, как пудровая свеча, желтая, заплаканная, оплывшая г-жа Штабель. Она неловко и пухло крестилась, потом вытянув белый, белый палец к гробу, сказала Травину:

– Помни, она умерла для тебя!

Он это запомнил навсегда; хотя прошло с тех пор всего четыре года, он знал, что это навсегда.

Вот где она, Ревекка. Но какая же Ревекка Семеновна Штек? Зачем опять входит в его жизнь это имя?

Все эти воспоминания пробудились тогда, когда он в первый раз услышал в квартире Сименсов игру, столь похожую на исполнение Шопена Елизаветой Казимировной. Неужели, подумал он тогда, это играет сам Сименс? С хозяином он встречался иногда в темной передней и запомнил только, что тот был очень высок и чрезмерно стар. Травину казалось, что Льву Карловичу лет девяносто и что он может каждую минуту рассыпаться. Только придя от Яхонтовых, Па-

Ф.Л. цу Штольберга-Штольберга; описание лодочной прогулки лирическим героем, находящимся в лодке; в партии фортепиано использована стилистика баркаролы. Начальные строки: «Среди мерцания зеркальных волн / Качающаяся лодка скользит, подобно лебедю...»

вел подумал, из кого состоит семья Сименса. Насколько он мог заметить, кроме старика и прислуги никого в квартире не жило, хотя он иногда и слышал женские и мужские голоса, – вероятно, приходили гости.

44 Очень редко отворяли двери в передней и впускали или выпускали гостей, очевидно они ходили черным ходом; до сих пор Павел Михайлович не обращал на это внимания, теперь же это показалось ему очень странным.

В голове у Травина был какой-то неподвижный круговорот мыслей, все об Анне Петровне и о своей любви к этой необычайной девушке. Он отпер дверь французским ключом, не звонясь, и остановился, не снимая пальто и не зажигая света.

Теперь уже не Шопен был слышен, а соната, «ее» соната!.. Елизавета Казимировна именно ее, эту раннюю, №4, сонату Бетховена особенно любила, находя в ней мистическое содержание, почти программное*. Удивление было не в том, что играли эту сонату, ее часто исполняют и разучивают начинающие пианисты, но самое исполнение, самая манера была не то что похожа, а просто та же самая, что у г-жи Штабель. Спутать, ошибиться не было никакой возможности. Павел Михайлович сел на стул у вешалки,

* 4-я соната (оп. 7) написана Л. ван Бетховеном в 1796–1797 годах и посвящена одной из его учениц, графине Бабетте Кеглевич. После публикации в 1797 году получила подзаголовок «Влюбленной». Одно из программных сочинений молодого композитора.

как был, одетый. Через дверное стекло солнце красным квадратом лежало на коврике, словно стыдясь, что оно так долго заленилось на бессонном майском небе. Может быть, это пятно напомнило Травину розовую комнату и все то далекое, но он сорвался со своего неудобного стула в передней и влетел в гостиную, где ему никогда не случалось раньше бывать. Не очень поместительная темная комната отделялась от прихожей только портьерой, так что появление Травина не сопровождалось никаким треском, и четвертая соната спокойно продолжала свое течение. В покое света не было, и Павел Михайлович не разбирал, кто сидел за пьянино, свечи на котором не были зажжены. Заря еще далеко не погасла, но на полу у небольшой этажерки стояла лампочка с красным колпаком и разрозненно освещала женщину на коленях, перебиравшую кипу нот разного формата. Подбородок несколько выдавался, от нежной губы, чуть-чуть выпяченной, не ложилось тени, зато глубоко чернели снизу розовые глазницы и нежные вдавы висков. Узкие глаза были внимательно опущены, и лицо выражало спокойную и детскую серьезность. Темно-рыжие волосы были не по моде уложены на голове в виде корзинки. Сходство показалось Павлу Михайловичу разительным. На медном листе у печки, ярко вычищенном, смутно отражалисьдвигающиеся руки и расплывшийся столб красной лампочки.

– Ревекка! – закричал Павлуша и поскользнулся на слишком блестящем паркете.

Девушка испуганно произнесла «Onkel», и ноты разлетелись разными форматами; дешевые издания уличных танцев и арий тяжелой кийпой шлепнулись прямо у ног. Соната прекратилась, старческий голос спросил слишком громко, словно спросонья, «что там?», но девушка уже опомнилась и, поняв, очевидно, хотя бы внешнюю сторону случившегося, оправила черную юбку у широкого лакированного пояса, почти не стягивавшего не очень узенькую талию, и сказала вопросительно:

– Г<осподин> Травин?

Теперь Павлу Михайловичу было стыдно своих мечтаний. Голос и лицо стоявшей перед ним девушки были, конечно, не той, далекой, которая, как он знал наверное, давно уже умерла, и даже ради его счастья. Он даже не мог понять, что заставило его искать этого сходства. Теперешняя Ревекка была довольно высокого роста, с энергичным, при всей своей милой детскости, лицом и веселыми узкими глазами, которые она в данную минуту лукаво переводила с Травина на пьянино и обратно. От потемневших румяно, словно запотелых, окон поднялся огромный сухой старик, нагибаясь, будто намереваясь сложиться вдвое, и опять слишком громко для своих лет произнес:

– Вы – веселый молодой человек; я давно это заметил. Вы отлично сойдетесь с г<осподином> Векиным. Это я свою племянницу так называю. Ревекка – Века – Векин. Слишком далеко, но мы понимаем, и мне так нравится. Вот и все, что нуж-

но. А господин она потому, что г<осподин> Векин – страшный сорванец, головорез и повеса, несмотря на свои восемнадцать лет.

Ревекка опять весело взглянула на Травина и сказала развязно:

– Г<осподин> Травин знает меня отлично от Анны Петровны, дочери генерала Яхонтова, а я знаю Павла Михайловича через Андрея Викторовича Стремина. Значит, мы почти что знакомы.

47

– Векин, Векин – всегда с секретами! – захотел старик.

Павлу Михайловичу захотелось поймать их врасплох, и он выпалил:

– А Елизавету Казимировну Штабель вы не знаете?

– Какую такую Штабель?

Девушка сдвинула брови в недоумении, а старик снова опустил в темноту и сквозь хохот говорил, словно кашлял:

– Это опросный лист! Я должен писать на бумагу! Сколько имен, и все с батюшками. О, я люблю русский обычай: с батюшками.

Ревекка взглянула строго на старика, который охал, словно разваливался от собственного остроумия, и ответила просто:

– Нет, этой дамы я не знаю.

Травин закричал совсем глупо:

– Может быть, вы и четвертой сонаты Бетховена не играли.

Старик охнул в темноте:

– Векин, пожми этому господину Травину плечами.

Травину было так стыдно своего выступления, что он не только не исполнял поручения Яхонтовой, но, наоборот, всячески избегал встречаться с Сименсом и его рыжей племянницей. У генерала он врал, что будто он старается, но что ничто, мол, не удастся. Между тем время приближалось к лету, и Анна Петровна нервничала, не зная, где установить свое местопребывание. Очевидно, это зависело от характера отношений между таинственным Стреминым и девицею Штек. Анна Петровна почти научилась сдвигать брови и часто впадала в такую рассеянность, что ничего не слышала из того, что лепетал ей Павел Михайлович; на отца она не обращала никакого внимания. Генерал сначала пробовал приставать к ней, куда же они поедут, но потом, покорившись судьбе, велел открыть три года уже не открываемый балкон и вставал нарочно в шесть часов, чтобы иметь возможность до публики напиться на балконе чаю, не надевая кителя, в чем, по-видимому, и полагал главную особенность дачного жилья.

У Сименса Травин почему-то всегда вызывал смех, и старик, грозя ему пальцем, твердил:

– Всегда думал, что вы – веселый молодой человек, а я редко ошибаюсь.

Павел Михайлович всегда в таких случаях поспешно скрывался в свою комнату, но однажды не успел этого сделать, так как в переднюю вышла Ревекка и, улыбаясь, примолвила:

– Он вовсе не веселый молодой человек, он-кель, а смешной дикарь, и если он сегодня не придет к нам пить чай с сушками, я с ним разнакомлюсь.

Старик захлопал в ладоши и закричал: «Браво, г<осподин> Векин, я вас назначаю полицмейстером!», а девушка, подойдя близко к Травину, сказала очень серьезно:

– Почему же вы так плохо исполняете то, что поручила вам дочь генерала Яхонтова? Вы начали очень смешно, но отступать не надо. Сегодня будет Андрей Викторович. Приходите непременно. А то напишу письмо Анне Петровне и выведу вас на свежую воду. Я тоже заинтересована в этом. Так мы вас ждем в пять часов. И ведите себя умнее.

Травин не успел ничего сказать, как девушка уже скрылась, а г. Сименс хохотал, раскрыв беззубый рот, затем протрубил:

– Вот вам и г<осподин> Векин. Каковы строгости?

В словах Ревекки, а еще более во взгляде ее узких глаз, напоминавших крепкий бульон с морковным наваром, была какая-то дружеская на-

стойчивость и повелительность, которой было неизбежно и славно повиноваться. Павел Михайлович не выходил из дому, так что опоздать в соседние комнаты было трудно. Оказалось, что в пять часов у Сименса был не чай, а попросту настоящий обед, и пирог дымился уже в столовой. Лев Карлович сам постучал в двери Травина и был одет в новый, длинное колен, сюртук и галстук бантом. Стол был накрыт на четыре персоны, но обилие закусок и, главным образом, вин показывало, что ждали гостя, мнением которого дорожили. Павел Михайлович был слишком скромн, чтобы принять эти приготовления на свой счет, и с понятным нетерпением ждал Стремина, с которым связаны были как-то все лица, которыми он, Травин, так или иначе интересовался.

Ревекка и Лев Карлович тоже, по-видимому, ждали посетителя и чувствовали известное стеснение: старик не смеялся, не приставал к Травину с уверениями, что тот – веселый человек, не назвал даже свою племянницу господином Векиным, девушка была просто рассеяна и теребила ярко-зеленые отвороты черного своего, в первый раз надетого платья. Разговор велся чопорно, главным образом о том, как Лев Карлович служил агентом в страховом обществе, как он вышел в отставку, сколько получает пенсии, что Ревекка – дочь его сестры, живет в том же доме, но ходит черным ходом, так как двери обеих квартир находятся друг против друга, если же ходить парадным, то нужно ид-

ти по улице, что мать Ревекки, Елизавета Карловна, так больна, так больна, что отказалась от удовольствия пообедать с ними, но это ничего не значит, она скоро поправится, они все опять соберутся, и молодой человек познакомится со старушкой, которая очень жаждет этого знакомства. Говорил Лев Карлович очень долго, временами кашлял и вытаскивал из сюртучного кармана большой клетчатый платок. Ревекка сидела у окна, все теребя свои отвороты, наконец сердито сказала:

51

– Полно, онкель, врать, все это пустяки, и г<осподину> Травину совсем не интересно.

Сименс сделал книксен и обидчиво ушел в столовую, где начал ковырять вилкой тертую селедку. Племянница вскочила, чтобы прекратить такой беспорядок, но старик не отдавал тарелку, и оба они принялись бегать вокруг накрытого стола, когда зазвонил требовательно звонок и несчастная селедка окончательно выпала из слабых пальцев г-на Сименса. Ревекка побежала было опрометью в переднюю, бросив старику:

– Фу, онкель, совсем как маленький! – но вдруг остановилась и, очевидно, передумав, подошла к Павлу Михайловичу и, сев с ним рядом, заговорила вполголоса:

– Это Андрей Викторович. Смотрите на него в два глаза, потому что он писанный красавец. Пожалуйста, не обижайтесь, если он вам что сгрубит, с ним это бывает, но вы будьте умным и не обращайтесь на это внимания. Этим вы

доставите большое удовольствие и мне, и Анне Петровне. Вот еще что. Сегодня я буду необыкновенно любезна с вами; я вас предупреждаю, потому что вы человек наивный и легко можете выражать там всякие удивления по этому поводу. Так вот, чтобы без всяких там удивлений.

Девушка говорила быстро и как будто давала приказания, меж тем как лицо ее вдруг порозовело, в глазах запрыгали морковные живчики, даже волосы, казалось, порыжели, и вся она сделалась прелесть какая привлекательная. И опять дружеская настойчивость отнимала всякое сопротивление.

В комнату с мрачным бряцанием входил среднего роста офицер медленной и роковой походкой. Лицо его, замечательно, правда, красивое, было лишено какого бы то ни было выражения, кроме раз данного ему природой. Это же выражение было рассеянное презрение с несколько унылой мрачностью. Очень аккуратный костюм и картавое произношение придавали молодому человеку несколько фатоватый оттенок, но поношенная портупья, незастегнутый ворот аккуратного костюма и небрежная прическа говорили и о некотором, может быть, дешевом ухарстве и отваге. Смуглое лицо его не озарилось улыбкой при здоровании, и только кончики малиновых спелых губ чуть тронулись, когда он произносил перед Травиным, равнодушно, как рапорт:

– Стремин, Андрей Викторович.

Фамилия Павла Михайловича не произвела на вновь прибывшего никакого особенного

впечатления. Даже темные печальные глаза его не приобрели большей пристальности.

Ревекка поздоровалась со Стреминым, но тотчас отошла снова к Травину и усадила его рядом с собою за обедом. Офицер медленно взглянул раза два, потом принялся пить со стариком. Пил он вежливо, без прибауток, но много и сбивчиво, мешая в беспорядке разные сорта вин. Видя, что хозяйка на него не обращает внимания, он стал рассказывать Сименсу о современной конструкции орудий; тот радовался, как ребенок, хлопал в ладоши, топал ногами, хохотал и требовал от Стремина, чтобы тот объяснил ему самые простые явления природы, удивляясь и приходя в восторг. Ревекка нарочно говорила вполголоса как будто очень веселые вещи, переводя с вызовом свои узенькие живчики с Травина на офицера и обратно. Сименс уже старался ртом изобразить пушечный выстрел, потом раскашлялся, вытащил клетчатый платок, стал им махать, не сморкаясь, как флагом, – вообще вести себя как-то нелепо, потом побрел к пьянино, смеясь и горбясь более обыкновенного. Стремин вежливо попросил позволения расстегнуться и поник головою. Ревекка иногда останавливала Павла Михайловича, чтобы он не подливал себе вина слишком много, но ему хотелось, чтобы в голове у него кружилось и все кругом представлялось более понятным.

Старик заиграл мазурку Шопена, потом вальс, наконец опять Четвертую сонату. Павел Михайлович закрыл глаза и ждал конца музыки, не слу-

шая, что тревожно ему говорила Ревекка, потом встал и, подойдя к Льву Карловичу, спросил совершенно спокойно, даже шутя:

– Признайтесь, Лев Карлович, вы все-таки знали Елизавету Казимировну Штабель или по крайней мере слышали о ней.

– О, да! И знал, и слышал, много слышал, – обрадованно закивал головою Сименс.

54 – Тогда вы должны были знать и племянницу ее, Ревекку.

– Племянницу Ревекку? Кто же ее не знает!

– Я говорю не про вашу племянницу, а про родственницу г<оспо>жи Штабель. Вы можете слушать меня внимательно?

– Конечно, могу.

– Ну так вот: та Ревекка умерла, и умерла для меня.

Старик смотрел, не понимая, наконец словно уразумел, закивал головою и, бесшумно смеясь, проговорил:

– Это все пустяки, молодой человек: Ревекка и не думала умирать, хотя правда, что она так добра, что может пожертвовать жизнью для чужого счастья.

Фраза была очень главной для Льва Карловича и, пожалуй, самой разумной из тех, что он произносил, по крайней мере в присутствии Травина. Может быть, вследствие своей благоразумности она и показалась ему более таинственной, чем подчас бессмысленный лепет, хотя они говорили почти шепотом и он еще понизил голос, спрашивая:

– Где же она находится, Ревекка? Вы знаете?

– Еще бы не знать! Она здесь...

– Как здесь? – спросил Павел Михайлович, отстраняясь, как будто поддаваясь влиянию слов Сименса.

– Здесь... – повторил тот беспечно и указал неопределенным жестом к столовой, но тотчас же Травин, сидевший спиной к дверям, увидел отражение какого-то страха в глазах старика. Когда он обернулся, на пороге стояла Ревекка. Это был уже не г-н Векин, не полицмейстер. Хотя девушка улыбалась любезно и особенно пленительно, во всех чертах ее была усиленная воля: и в выдавшемся подбородке, и в крутом лбу, и в несколько квадратном овале, глаза ее светились почти осязаемым рыжеватым огнем. Даже улыбка ее могла казаться маниакальной. Травин так же, как и старик, не двигался и смотрел, что будет дальше. Но девушка просто произнесла:

– Пойдемте пить чай! – и потом быстро и зло зашептала, схватив Павла за руку: – Ведь это же все вздор, что говорил вам дядя. Он впал в детство и заговаривается. Вам это может нравиться, потому что вы сами не без странностей, но это очень опасно и страшно. Вы сами понимаете. Пойдемте пить чай. Нехорошо, что вы ушли от Стремина, он может обидеться, и тогда все пропало. Вспомните о дочери генерала Яхонтова, если уж вы не дорожите ни моей, ни своей судьбою!..

Вместо убедительности в ее словах была злая настойчивость, мало подходящая к улыбке, застывшей на ее губах. В это время из столовой

послышался удар кулаком по столу, задребезжало мелко стекло, и громкий голос крикнул:

– К черту!

Ревекка не обернулась, только сдвинула брови (чему так тщетно хотела выучиться Яхонтова), Лев Карлович, по-видимому, страшно обрадовался, хотел, вероятно, найти, что г. офицер очень веселый человек и похож на полицмейстера, но не успел ничего сказать, так как племянница, выпустив руку Травина и уже не улыбаясь, подскочила к старику и прошипела прямо ему в лицо:

56

– Грудной младенец, бери зеленую чашку и марш за шкаф! Ну, живо!

Старик послушался, но веселость его не сразу прошла: он все еще чего-то лепетал и подмигивал Павлу Михайловичу, словно беря его в свидетели, какая смешная история произошла. Когда он скрылся, Ревекка снова улыбнулась, молча взяла Травина за руку (его удивило, что не под руку, а именно за руку) и повела в столовую.

Там вокруг стола, где все уже было приготовлено для чая, ходил большими шагами, бряцая амуницией, Стремин.

– Давайте пить чай. Дядя нездоров, – сказала Ревекка и прибавила свету.

Будто все успокоилось: офицер повеселел, стал рассказывать незатейливые случаи из заграничных путешествий, хвалил домашние печенья, вообще вел себя как самый обыкновенный буржуазный гость. Девушка тоже перестала казаться Травину загадочным существом, так мило

разговаривала она, угощала, наливала чай, немного по-немецки хозяйничала. Будь еще человека три-четыре, – несомненно, устроилось бы что-нибудь вроде фантов, танцев или маленькой партии в покер. Вдруг одна мармеладинка поднялась сама из вазочки, покачалась, хлопнула Стремина по лбу и исчезла вверху. Офицер побледнел и схватился за эфес, умолкла и хозяйка, но потом, взглянув наверх, вспыхнула, рассмееялась и, положив руку на обшлаг Стремина, среди смеха заговорила:

– Не сердитесь, Андрей Викторович, это он дурачится. У нас там хранятся удочки. Он соскучился сидеть один или захотел полакомиться – и придумал. Нужно быть к нему снисходительным: старый что малый.

Действительно, из-за шкапа показалось и опять спряталось улыбающееся лицо Льва Карловича с удочкой в руке. Ревекка крикнула, как пуделю:

– Ну, вылезай, онкель, тебя простили.

Офицер улыбнулся, но бледность еще оставалась на его смуглом лице. Сименса извлекли из-за его шкапа, откуда он явился с зеленой чашкой в одной руке и выуженной мармеладинкой в другой. Он сидел смирно, и беседа также продолжалась, пока гостю не настала пора уходить. Прощаясь с Травиным, Андрей Викторович коротко сказал:

– Проводите меня немного, погода прекрасная.

Понизив голос, он прибавил:

– Мне нужно поговорить с вами.

– Так зайдите ко мне в комнату.

Ревекка вступилась:

– Конечно, пройдите, Павел Михайлович, еще не поздно, и у вас есть ключ.

Травину показалось, что девушке не очень хочется, чтобы он ее послушался, но ему захотелось противоречить, и он ответил:

58 – Вы совершенно правы, Ревекка Семеновна! – и стал надевать пальто. Стремин, уже одетый, терпеливо ждал. Только сейчас Павел Михайлович вспомнил, что это предложение было единственной фразой гостя, обращенную лично к нему.

– Я не прощаюсь, – заметила ему Ревекка, – вряд ли я еще лягу, когда вы вернетесь.

Погода была, действительно, прекрасна; когда Травин вышел со своим спутником на Екатерининский канал, его особенно поразила зеленая прозрачность призрачного неба и воды, прямые (особенно прямые, какие только во сне видишь) линии тоже как будто прозрачных зданий и осколок бледного золота – звезда, вокруг которой теплый эфир лиловел. Он, конечно, не раз видел белые ночи, но сегодня будто впервые почувствовал всю их пронзительную едкость и нереальность вместе с тем. Он даже позабыл, что Стремин ему хотел сообщить что-то, как ждет его помощи Анна Петровна, как странно себя ведут Ревекка и ее онкель Сименс, как непонятна их таинственная, но несомненная связь с теми, давно уже ушедшими, Елизаветой Казимировной и ее племянницей, он забыл об этом, или, лучше сказать, все это казалось ему так слито с больною зеленью небосвода и слепым мерцанием бестенного света, – что неизвестно к чему относилось его восклицание. А воскликнул он:

– Странно! – и сейчас же сам, спохватившись, взглянул на офицера.

Тот ответил просто и серьезно, поняв, очевидно, слова Павла Михайловича:

– Я люблю зиму.

Помолчав, добавил:

– Белых ночей я терпеть не могу. И особенно потому, может быть, что они оказывают на меня влияние.

60

– Вы – с юга?

– Я родился и вырос в Пензе.

Точность и простота ответов Стремина казались странными, почти тупыми.

А между тем было заметно, что он хочет рассказать что-то о себе, и именно в форме афористических признаний. Как будто в подтверждение этого предположения, Андрей Викторович совершенно неожиданно заявил:

– Я очень люблю мучить!

Травин даже не понял, что такое говорит офицер, и, думая, что ослышался, переспросил:

– Как это «мучить»?

– Ну, доставлять другим мучения, и не нравственные там какие-нибудь, а физические, – щипать, колоть... Моральные муки – это выдумка, по-моему, и зависят от чувствительности субъекта, а когда бьют, так всякому больно.

– Вы выдумываете, кажется, на себя. Какая же приятность – мучить людей?

– Нет, я не позирую. Кому же охота брать на себя такую дрянь?!

Павел Михайлович с удивлением посмотрел на своего спутника. На смуглом и невыра-

зительном лице того отражалась какая-то детская печаль и беспомощность. Наверное, когда он спал, он делался, может быть, и не очень хорошим, но сносным и довольно милым мальчиком. Травин, несмотря на то что был, очевидно, моложе офицера, почувствовал себя старшим и продолжал разговор в тоне, который никогда себе не позволил бы при других, менее странных обстоятельствах. Андрей Викторович прошел несколько шагов молча, потом снова начал говорить как-то обиженно:

– Вы не должны думать обо мне плохо. Я сейчас объясню. Я люблю доставлять физические мучения, потому что слишком легко поддаюсь влиянию, вот даже белые ночи на меня влияют. Я слаб характером, а между тем обожаю силу и страсти разные. Бить и быть грубым – это легче. Мне кажется, что не только страсти, а даже вера в любовь и страсть исчезла...

– В любовь святая вера и страсть исчезла в нас, – пропел Травин, хотя и подумал, как бы Стремин не обиделся. Но тот спокойно спросил:

– Это из Лермонтова?

– Это из «Прекрасной Елены»*.

– Да-да... похоже как-то.

* Травин цитирует строчку из либретто комической оперы Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена» (1864; текст А. Мельяка и Л. Галеви), в которой иронически переосмыслены причины Троянской войны. С самого начала сценической истории опере была свойственна злободневная сатира: например, исполнители партий Менелая и Елены в Вене были загримированы Наполеоном III и Евгенией Монтихо.

- А вы любите Лермонтова?
- Очень.
- По-моему, вы Брюсова должны любить.
- Брюсова? Я его не читал. Я вообще очень мало читаю. Как-то Эдгара По три года подряд читал, чуть с ума не сошел.
- Нравилось?
- Он очень влияет.

62

Павлу Михайловичу становилось скучно, несмотря на прекрасную ночь, и он все менее и менее понимал, зачем офицер вытащил его на прогулку, как вдруг Стремин спросил, опять как-то по-детски печально:

– Вы не думаете, что Ревекка Семеновна – ведьма?

– Я вообще не верю в ведьм.

– Я ведь не в буквальном смысле говорю, может быть, она верхом на метле и не ездит на шабаш. Хотя отчего бы ей и не делать этого? Но я имею в виду не это, а влияние, гипнотизм что ли. Этого вы не отрицаете, надеюсь. Или вы это презираете так же, как романтизм и сильные страсти?

Откуда он взял, что Павел Михайлович презирает романтизм и сильные страсти, было неизвестно, так как из слов Травина этого вовсе не выходило. Но, кажется, сам Стремин не настаивал на этом и вопрос задал чисто риторически, потому что, не дожидаясь ответа, сам продолжал:

– В присутствии Ревекки Семеновны я делаюсь совсем другим человеком, сам себя не узнаю, потому злюсь и на нее, и на себя за свою сла-

бость. Я бы с удовольствием отколотил эту барышню, хотя знаю наверно, что не перестал бы быть от этого рабом. И вместе с тем меня тянет к ней непреодолимо. Это выше моих сил.

– Вы любите Ревекку Семеновну? – после объяснений Стремина такой вопрос не был ни неожиданным, ни слишком фамильярным. Офицер так и отнесся к нему: серьезно и очень просто. Он ответил, подумав:

– Ревекку Семеновну? Пожалуй, нет... Я не могу от нее отойти, но люблю я другую: Анну Петровну Яхонтову.

Он даже не скрывал имен и фамилий, словно говорил с лучшим другом. И опять детская беспомощность прошла по его невыразительному лицу.

– Я ведь с ней не так давно знаком, с девицей Штек. И совершенно случайно познакомился. Мой товарищ снимал у них комнату, где теперь живете вы. В первый же раз, когда я увидел это рыжее сияние (вы заметили?) из ее глаз, я сделался сам не свой. Потом она мне показалась совсем обыкновенной мешаночкой, но я не забывал первого впечатления. Я стал бывать. А теперь мне ясно, что она – ведьма. Иначе чем же, чем же она меня держит, скажите пожалуйста? Она даже мне не любовница!..

– Они вообще странные люди. И дядя ее, Лев Карлович.

– Тот – просто неприличный старик! – заметил Стремин и добавил в раздумьи: – Вот я все мечтаю избить Ревекку, а в глубине сердца, на-

верное, рад был бы, если бы она меня ударила. Но она только командует да издевается. Я уверен, что, произойди какое-нибудь конкретное столкновение, все равно: я ли ее, она ли меня, – все очарование пропало бы!..

64 Он опять задумался, пристально глядя на длинные красные облака, которые странно чертились в его зрачках. Травин почти забыл свое обожание к Анне Петровне, странное семейство (его связывала какая-то тайна) Сименса, его интересовало болезненно то обстоятельство, что в данную минуту у его собеседника можно было выспросить все, что угодно, все, что он знал. Чувствуя себя старшим, он стал понемногу относиться к этому разговору как к странному спорту.

– А Анну Петровну вы давно знаете?

– Очень; еще мой покойный отец был дружен с генералом Яхонтовым.

– Я никогда не слышал о вас у них в семействе.

– Не приходилось. К тому же, последние годы я жил не здесь, не в Петербурге. Я слышал о вас и от Анны Петровны, и от самого генерала. Я знал, что вы их друг. Я даже знаю... что вы сами любите Анну Петровну...

– Что же, она сама вам это сказывала?

– Да.

Травину было крайне неприятно, что Яхонтова так неосмотрительно делилась своими предположениями с совершенно посторонним ему человеком, спортивный пыл и интерес с него соскочил, известная доля странности пропала, и он

уже спрашивал Стремина не как необыкновенного спутника, слитого с белою ночью, а как простого малознакомого, туповатого и не очень приятного офицера, к тому <же> соперника ему в любви, спрашивал с колкой иронией:

– Что же, когда г<оспо>жа Яхонтова сообщила эти сведения, она смеялась?

Но тот никакой иронии не понял, а отвечал просто и точно:

– Смеялась? Нет, она не смеялась. Наоборот, она плакала.

Павел Михайлович улыбнулся саркастически. Но офицер и на улыбку эту не обратил внимания. Он смотрел на солнце, которое вдруг распугало легкие облака, и ведро розово-золотой краски плеснуло на Биржу. Стремин медленно и довольно рассмеялся. Лицо его стало совсем ребяческим. Он лениво и с аппетитом, но без всякой скуки или презрительности, даже доверчиво заговорил:

– Как я люблю раннее утро! Я терпеть не могу белых ночей, но если бы я знал, что теперь не два часа ночи, а часов пять утра, я бы радовался, как ребенок. Все так свежо, так детски бодро и прекрасно. В сущности, если жизнь не представляет ряда сильных и прекрасных чувств и действий, то всего желанней бодрое, веселое детство. Впрочем, я и старость понимаю, я не понимаю только сложностей и болезненности, всякой таинственности и мистики...

Он опять посерел и даже как будто слегка сгорбился. Травин снова как-то позабыл, что пе-

ред ним соперник, и, может быть, счастливый. Посмотрев вместе с офицером на розовую Биржу и на мелкую рябь Невы, где розы дробились легко и воздушно, словно щипали розовую гагару и пух ее, иногда с кровью, скользил по осколкам воды, – он, пожалуй, для самого себя неожиданно проговорил:

66 – Анна Петровна вас очень любит, я могу вам дать честное слово. И потом, эта девушка способна на самые высокие страсти.

Лицо Стремина сразу сделалось скучающим и неприятным. Очевидно, он хотел что-то другое сказать, но вышло у него только:

– Это очень похоже на правду.

Пора было возвращаться, так как Павел Михайлович и так зашел слишком далеко от дому и вдруг вспомнил, что Ревекка, может быть, и в самом деле его ждет. Стремин потер лоб, будто что вспоминая, потом, вдруг рассмеявшись, воскликнул:

– Я тоже хорош. Вытащил вас из дому, чтобы сказать...

– Да вы мне и сказали...

– Да, я болтал много, но главного так и не передал.

– Скажите теперь.

– Меня именно просили вам передать...

Он опять остановился.

– Что же именно?

Стремин опять рассмеялся, делаясь всё более и более неприятным.

– Это замечательно. Мы оба передаем друг другу объяснения в любви. Вас тоже очень любит Ревекка Семеновна.

– Это она вас и просила сообщить мне об этом?

– Она сама, ведьма проклятая! Но это мы еще посмотрим! – закончил он вдруг угрожающим тоном и, отпустив палаш, который игрушечно загромыхал по тротуару, ушел не оборачиваясь, даже не простившись.

Павлу Михайловичу попеременно казалось все произошедшее то сном, притом бессонной ночи, то самым обыкновенным, почти пошлым разговором, вроде маскарадной интриги. Двоился в его мнениях и Стремин, и самое утро: то ему представлялось прелестное летнее, несколько прохладное, утро, то ужасала эта солнечная ночь.

Он позабыл слова Ревекки, потому очень удивился, когда, войдя в свою комнату, увидел у себя в кресле спящего человека. На столе лежал развернутым роман Марлит*, а солнце неподвижно, без всякого трепета (не дымились еще трубы, не летели облака) золотило рыжие волосы. Было необыкновенно тихо, от дневного полного света в этот час казалось еще тише. Девушка си-

* Е. Марлитт (Марлит) — литературный псевдоним популярной во второй половине XIX века немецкой беллетристки Евгении Йон (1825–1887). На русский язык был переведен примерно десяток ее романов. Неустойчивость авторского написания псевдонима: «роман Марлит», «роман Марлита» — отражает тогдашнюю российскую издательскую практику.

дела очень прямо, закинув голову назад и опустив одну руку. Травин долго смотрел на спящую, вспоминая слова офицера о «ведьме». Ревекка не шевелилась, потом открыла глаза, но не переменила позы. Казалось, она не удивилась, увидя так близко от себя лицо Павла Михайловича, но, словно ничего не соображая, водила, все не двигаясь, глазами вокруг комнаты.

Наконец Травин сказал:

– Зачем вы себя так утомляли, Ревекка Семеновна? Не было никакой необходимости дожидаться меня. Я, конечно, виноват, так безбожно задержавшись.

Девушка снова закрыла глаза и зашептала:

– Ничего... ничего... я сейчас... это пройдет... не говори минуточку...

Потом затомилась о том, что поздно:

– Боже мой, как поздно! Почему вы меня не разбудили?

Дрожь пробежала по ее телу снизу вверх, и она заметалась, не вставая с кресел. Потом снова затихла. Павел Михайлович произнес вразумительно:

– Я только что пришел, так что не мог разбудить вас. И теперь всего половина третьего.

Ревекка не отвечала, закрыв глаза, так что Травин подумал, что она опять заснула, и отошел тихонько к окну. Квартира была в шестом этаже, так что видно было крыши, освещенные солнцем, голубую тень двора и жирных голубей, которые, потоптавшись и урча, вдруг валились вниз, как клецки.

Девушка заговорила своим обычным, оправившимся голосом:

– Что же, сказал вам Андрей Викторович, что хотел?

Павел Михайлович, обернувшись, увидел Ревекку такую, какую она всегда бывала, только глаза немного подпухли да щеки немного побледнели. Она натянула на плечи платок в букетах, словно зябла, и начала совсем весело:

70

– Я – жертва собственного любопытства. Кто же бы согласился не спать ночь, чтобы узнать только, как вы понравились друг другу?!

– Вас только это и интересует?

– Нет, конечно. Мне хотелось бы узнать также, что Андрей Викторович вам открыл?

Нормальный тон Ревекки показался таким неестественным, почти чудовищным, в данную минуту Травину, что он невольно воскликнул:

– Ради Бога, не притворяйтесь! Разве вы не видите, что теперь не такое время и дело вовсе не в том!

Слова его были бессмысленны, но девушка как-то поняла их, потому что веселость ее вдруг исчезла и она, еще более побледнев, прошептала растерянно:

– Я вас не понимаю!..

– Ах, отлично вы меня понимаете, если только вообще тут можно что-нибудь понять!

– Трогательное признание! – пробормотала Ревекка и улыбнулась, но эта улыбка была уже последним отблеском самообладания и развязности. Она замолкла, плотнее закуталась в свой

букетный платок и, словно ослабев всем телом, покорно произнесла:

– Я слушаю. В чем дело?

Ее внезапная беспомощность, такая быстрая, такая беспричинная (действительно: достаточно окрика, возвышения голоса), пробудила в Павле Михайловиче жалость и вместе с тем уверенность, что именно теперь при ее слабости ему удастся всё узнать: все тайны, все нити, так странно их связующие. Он бросился к креслу и, умоляюще сложив руки, заговорил:

– Откройте мне! Вы не можете себе представить, как это мучит меня, эта неизвестность и это совпадение. Я все время будто стучаюсь головой об стену, и это не может так продолжаться. Лев Карлович мог бы объяснить мне все это, но я не знаю, насколько можно доверять его словам, тем более что вы сами мне говорили, меня предупреждали!..

Ревекка опять затянулась шалью, глубже ушла в кресло и уныло проговорила:

– Что вы хотите знать?

– Какую связь вы имеете с Елизаветой Штабель и ее родственницей?

– Я в первый раз слышу эти имена. Расскажите мне про этих женщин.

Несмотря на лунатический или несколько спиритический голос девушки, в ее словах все-таки слышался приказ, которого невозможно было не исполнить. Отчасти от этого, отчасти желая точно знать, Травин начал рассказывать свою давнюю историю с Елизаветой Казимировной

и той, умершей Ревеккой. Живая слушала словно в полусне, и когда Павел Михайлович, сам увлеченный, кончил свое не очень краткое повествование, произнесла задумчиво, но уже почти без странности:

– Имена имеют большое влияние. Верить этому, конечно, несправедливый предрассудок, но это верно!

72

Опять задумалась, потом, вспомнив, спросила:

– Она ведь умерла, та девушка?

– Да, как я вам сказывал.

– Странно, очень странно. И умерла для вашего счастья? Это очень красиво, может быть, слишком... Но что же? Иногда и прекрасные поступки бывают красивыми. Редко только... Я сейчас очень устала, но чувствую, что тоже могла бы... сделать что-нибудь... ну, умереть там, что ли? Mourir un peu, как у Верлена*, для того, кого любила бы... Только я никого не люблю...

– А Стремина?

Ревекка рассмеялась, сделавшись вдруг похожей на своего дядю.

– Это совсем другое. Это игра. Кажется, неудачная для меня. Он иногда меня пугает, а чаще скучно... Я все жду, когда он меня поколотит, а он, кажется, того же ожидает с моей стороны... Я ведь не добрая, хоть и готова умереть, и часто не люблю людей, которых и в глаза не ви-

* «Mourir un peu» («умереть чуть-чуть») – слова из стихотворения Поля Верлена «Langueur» («Томление», 1884), в котором описано мироощущение римлянина эпохи распада Империи.

дала. Я дочь генерала Яхонтова не люблю. Это не ревность, а просто она мне представляется претенциозной и глупой... вроде героинь Марлит... А имена... имена имеют большое влияние... Спасибо за вашу историю о Ревекке... Говорится к сведению...

Девушка широко открыла глаза и, внимательно глядя в совсем уже дневное окно, повторила:

- К сведению... к печальному сведению!
- Вам холодно, Ревекка Семеновна?
- Мне? Нет... я устала.
- Я вас никогда такой не видел.
- Вы и вообще-то видите меня в первый раз.
- Верно.

Помолчав, Травин сказал нерешительно:

– Вот вы говорите, что никого не любите, а Стремин и вызывал меня специально, чтобы открыть, что вы влюблены в одного человека.

- Не в вас ли?
- Раз вы спрашиваете, я отвечу. В меня.
- И вы этому верите?
- Не очень.
- Слава Богу.

Девушка поднялась, но тотчас оперлась о стол, словно нога у нее повернулась. Поморщась, она проговорила:

– Это все – офицерский вздор. Важно совсем не это, вы это отлично понимаете. Ну, спокойной ночи.

Потом добавила:

– Правда, что мне очень подходит это имя: Ревекка?

Павел Михайлович подходил к дому, где жили Яхонтовы, как раз в ту минуту, когда к подъезду подъехали генерал и Анна Петровна. По-видимому, они катались, такой беспечный, праздный был у них вид. Травину редко случалось видеть Яхонтову на улице, и он еще раз с восторгом и влюбленностью заметил, как она красива. Широкий лиловый вуаль делал розовее и нежнее ее лицо, движения, слишком резкие в комнатах, на воздухе казались только определенными и не вялыми. Даже выскочила она из экипажа (генерал по солидности предпочитал лошадей автомобилям) с твердою легкостью и, пожав руку Павлу Михайловичу, не выпускала ее, покуда отец отдавал распоряжения кучеру.

– Вы к нам? – спросила она вполголоса и любезно, но немного строго.

– Да, я собирался зайти к вам, если не помешаю.

– Какие глупости! Когда же вы мешали? А сегодня мне было даже необходимо, чтобы вы пришли. Мне очень нужно поговорить с вами, спро-

сильно вас кое о чем. После чая вы не убегайте, хотя папа сегодня очень в духе и будет, вероятно, долго болтать.

Опять, отступивши было при виде таких реальных, жизнерадостных Яхонтовых, странное, полусонное волнение овладело Травиным и перенесло в запутанную историю, где барахтались и Стремин, и онкель Сименс, и покойная Елизавета Казимировна, и обе Ревекки, временами сливаясь в одну, и сам он. Даже на Анну Петровну ложилась какая-то таинственная и неприятная тень всякий раз, как Травин думал о ней в связи с остальными персонажами. Это был ни романтизм, ни романизм, а просто темная (во всех смыслах) история, вроде участия в шантаже или кинематографическом ограблении*. Ему был так неприятен этот оттенок, что всегда было отрадно встретить Анну Петровну или ее отца, даже попросту в реальной и жизненной обстановке. Сегодня особенно ему

* Думается, что во времена создания повести память о 12-минутном немом фильме «Большое ограбление поезда» («The Great Train Robbery», 1903, режиссер Э. С. Портер) была всеобщей. Интерес к данной теме в кинематографе сохранялся у Кузмина и впоследствии. Ср. в его письме к Ю. А. Бахрушину от 17 декабря 1933 года о получении денег за проданный Гослитмузею Дневник: «Дошло все благополучно, хотя почтовое отделение и было потрясено, и мы ходили дважды с чемоданами получать мои тысячи, как в старом кино „Ограбление виргинской почты“» (ГЦТМ. Ф. 1. Оп. 2. № 206. Л. 1; упомянут американский фильм «Tol'able David», 1921, в советском прокате «Нападение на виргинскую почту», 1925).

этого хотелось, но он привык подчиняться желаниям и даже капризам, если бы они были, Анны Петровны.

76 Действительно, генерал был очень благодушен, много и долго пил чай, вспоминал какие-то случаи, не замечая, как переглядываются между собою его дочь и Травин. Наконец даже он заметил их нетерпение и, забрав с собою последний стакан, отправился к себе в кабинет раскладывать пасьянс.

– Пойдемте! – сразу сказала Анна Петровна и решительно встала. Только когда они вошли в комнату, опустив занавески, зажегши свет и усадив Павла Михайловича в темный угол, она начала, опять как-то прямо, без всякого предварения:

– Вы, Павлуша, ничего не делаете из того, о чем я вас просила. Будто вы меня совсем не любите. Я вам говорила и повторяю еще раз, что для меня это дело большой важности, исключительной, а между тем это смешно, но я знаю больше, чем вы.

Говорила она тоном выговора, при последних словах даже остановилась перед Травиным, будто ожидая, что он может ответить. Тот пробормотал смущенно:

– Я не знаю, Анна Петровна... я исполнял ваше порученье... но там отношения так сложны, что, право, я не знаю даже, как вам это все передать...

– Ничего нет сложного... это все вы сами крутите. Известно ли вам, между тем, что Стремин

на днях уезжает с Ревеккой в Финляндию, вместе. Это вы проглядели, следя «таинственную связь событий»...

Анна Петровна была в гневе и, уже не сдерживая себя, не стеснялась в выражениях. Бегая по комнате, она повторяла, уже не обращаясь к Павлу Михайловичу:

– Это будет полный скандал, открытый! Но, может быть, ей только этого и нужно, вашей авантюристке! Но я не допущу этого, не допущу!

77

Она еще раз повторила это «не допущу», словно желая самое себя убедить в непреклонности этого решения. Остановившись, она задумалась, потом начала совсем другим тоном, убедительным и страстным, вполголоса, – и опять представилась Травину не как противоположение всей этой странной истории и действующим в ней лицам, а также участницей, ничем от других не отличающейся. Она говорила:

– Может быть, вы думаете, Павлуша, что я не ценю вашей любви ко мне? Я очень ее понимаю, благодарна вам за это чувство и сама люблю вас. Конечно, это не страсть с моей стороны... но что же делать? Делаешь, что можешь... И потом... вы сами не знаете, какую силу вы там имеете. Силу и влияние огромные. Вы можете очень многое сделать, помочь мне. Пусть это безрасудно, пусть не умно, пусть даже унижительно для меня, но это должно произойти и произойдет именно через вас, через милого, доброго Павлушу, которого я так люблю и который мне не откажет... Правда? Правда?..

Анна Петровна обнимала Травина, стараясь заглянуть ему в глаза, которые он держал опущенными. Ему были непонятны и неприятны эти ласки, будто они относились совсем к другому. Она, казалось, не замечала этого и продолжала к нему прижиматься или, вернее, прижимать его к своей суховатой, горячей груди. Наконец, наполовину освободившись от ее объятий, Травин спросил треснувшим, чужим голосом:

– Что я должен сделать?

Звуки его слов как бы образумили Анну Петровну. Быстро отойдя от него, она закрыла лицо руками и, став у окна, долго молчала. Потом проговорила деловито, будто и не она только что не помнила себя:

– Вы должны сделать, чтобы Ревекка (она с видимым трудом выговаривала это имя), чтобы Ревекка вас полюбила.

Павел Михайлович молча пожал плечами. Глаза Яхонтовой вспыхнули, и она гневно вскричала:

– Вы стали удивительно несговорчивы!

Моментально погасла и уныло продолжала, словно безо всякого интереса:

– Я бы хотела видеть ее, говорить с нею.

– Это очень легко устроить. Вы можете зайти ко мне; надеюсь, что это никому не покажется предосудительным.

– И я тоже надеюсь!

Травин покраснел, но сдержался и продолжал, после минутной паузы, спокойно:

– Я узнаю, когда Ревекка Семеновна будет дома, и извещу вас.

– Так и сделайте! Я вам буду очень признательна!

Анна Петровна говорила безучастно и слегка надменно. Травин посмотрел на нее пристально и, удивляясь своей смелости, просто сказал ей:

– Ведь вы совсем не любите этого Стремина, Анна Петровна. Это вопрос самолюбия, и я совершенно не понимаю, зачем вы все это делаете.

Лицо Яхонтовой передернулось, и она ответила совсем уже неприязненно:

79

– Не хотите ли вы сказать, что было бы понятнее и естественнее, если бы я любила вас вместо Стремина?

– Я не говорил этого и не хотел сказать.

– Ну, полно пререкаться. Делайте лучше то, что я вас попрошу.

Травин поклонился. Анна Петровна искусственно рассмеялась:

– Не сердитесь, Павлуша, я сама иногда не помню, что говорю. Я даже перестала уже обращать внимание на это: иногда выйдет хорошо, а иногда из рук вон плохо.

Последние слова она произнесла уже гораздо проще, почти по-детски, и задумалась. Павлу Михайловичу стало ее жалко, и опять, как со Стреминым, он почувствовал себя старшим, более взрослым, во всяком случае, яснее всё соображающим. Он подошел к ней и сказал, как бы в виде утешения:

– Я вспомнил, Анна Петровна, что Ревекка Семеновна завтра вечером будет дома и свободна. Вот бы и вы зашли. Чего же откладывать?!

Яхонтова обрадовалась, схватила Травина за руку (ему показалось даже, что она хочет ее поцеловать) и благодарно произнесла:

– Будет дома, говорите?

– Да, я точно понял из ее слов, случайных, положим.

80 – Так, так. Благодарю вас, Павлуша: я непременно приду к вам. Вы устройте как-нибудь, чтобы это свиданье вышло естественно, не возбудило подозрения. Можете даже присутствовать при нашем разговоре, у меня от вас ведь нет секретов.

– Может быть, у Ревекки есть.

– Ну, там видно будет!

Радость ее также показалась Павлу Михайловичу болезненной и какой-то жалкой, – и он с облегчением стал прощаться.

На следующий день Травин несколько раз заходил в хозяйские комнаты, все спрашивая, не уходит ли куда Ревекка, хотя ничто в костюме и вообще внешнем виде девушки не говорило о ее скором выходе. Наконец Ревекка даже не удержалась и спросила:

– Скажите прямо, Павел Михайлович, хотите ли вы, чтобы я ушла, или вам удобнее, чтобы я оставалась дома?

Травин отшутился, но спрашивать перестал, только еще несколько раз под разными предлогами выходил в гостиную посмотреть, что делает девица Штек. Как раз сегодня на нее напало какое-то усидчивое настроение: она все сидела у солнечного окна и вышивала гирлянды по голубой полосе, тихонько напевая. Рыжие волосы на голубом через стекло небе казались совсем оранжевыми, и лицо выражало веселое спокойствие не без лукавства, но лишенное всякой тревоги и таинственности. Травин в первый раз видел ее за работой и обратил внимание, какая нежная и тонкая у нее шея, теперь склоненная. Ти-

хонько скрипнув дверью и ничего не сказав, он осторожно хотел выйти, как Ревекка сама его окликнула:

82 – Павел Михайлович, если бы я была не в духе, я бы непременно обиделась, зачем вы от меня что-то скрываете и не говорите, чего вам от меня нужно, но сегодня, не знаю, от прелестной ли погоды, от солнца ли, или от счастливого сна, или просто так, но я чувствую себя так хорошо, так легко, так (как это говорится?) благо-растворенно, что не хочу сердиться. Но все-таки объясните мне, если это не секрет, причину вашего волнения.

– Я не волнуюсь...

– Вы не волнуетесь? Кто же ходит к нам каждые пять минут, поминутно спрашивает меня, останусь ли я дома или куда-нибудь выхожу, молчит и краснеет? Что же это, если не волнение?

Травин промолчал; девушка воткнула иглу в голубой шелк и, не поворачиваясь от окна, сказала мечтательно:

– Я вовсе не любопытна; мне просто хотелось сделать вам приятное, и я не знала, чего вы хотите: чтобы я осталась или ушла. Может быть, у вас сегодня какой-нибудь секретный визит, и вы боитесь моих слишком зорких глаз... Я ведь не знаю...

– У меня сегодня будет дочь генерала Яхонтова, – вдруг объявил Павел.

Ревекка не удивилась, но лукаво спросила:

– Как это понять? Как приглашение уйти или наоборот?

– Я бы попросил вас остаться.

Девушка рассмеялась, но не очень весело.

– Давно бы так! А то все ходите кругом да около. Я охотно исполню ваше желание, тем более что сама жду гостя, Андрея Викторовича Стремина.

Травин опять хотел выйти, и снова его вернула Ревекка.

– Я, собственно, не понимаю, почему мое присутствие необходимо при посещении г<оспо>жи Яхонтовой. Или вы хотите нам сделать очную ставку?

– Анна Петровна, действительно, хотела вас видеть.

– Вот как. Недостает еще, чтобы я привела с собою Стремина. Получилось бы вроде пятого акта какой-нибудь пьесы – встреча всех героев.

– Но без убийства и смерти.

– Кто знает?

Возражение звучало странно серьезно. Чтобы стряхнуть неприятное впечатление, Травин вымолвил шутливо:

– Зачем такие романтические предположения? А еще вы, Ревекка Семеновна, говорили, что в хорошем настроении сегодня.

– Настроение приходит и уходит. Что мы можем?

– Теперь прошло?

– Да. Я очень устала.

– Вы часто устаете.

– Разве? По-моему, не очень часто. Впрочем, самой судить трудно.

– Но вы все-таки повидаетесь с Яхонтовой?

– Да. Я сказала уже, что повидаюсь и даже, если хотите, приведу Стремина.

– Не знаю, зачем это нужно.

– Может быть, и понадобится.

Ревекка перестала говорить, но не принялась за шитье, а сидела, опустив руки и бесцельно глядя в голубое окно. Действительно, лицо ее выражало усталость и болезненную сонливость. Травин вышел на цыпочках, как от больной.

Анна Петровна явилась с таинственностью и тревогою. Густой вуаль придавал ей старомодный вид, и волновалась она, словно пришла тайком от мужа на свиданье. Но известная суетливость мешала полной романтичности. Притом оба: и она, и Травин – вели какую-то игру, притворяясь хозяином и гостьей. Положим, Яхонтова в первый раз была в комнате Павла Михайловича, но как-то дико все-таки было с ее стороны так интересоваться обстановкою скромного помещения, а Травин с такою готовностью давал пустяшные объяснения. Он даже предложил ей чаю и стал развешивать стоявшие на подоконнике печенье и сласти. Почему-то Анна Петровна вообразила, что чай принесет Ревекка, и, когда горничная ушла, спросила шепотом:

– Это ваша горничная?

– Конечно, а то кто же? – удивился Павел; но, взглянув на переконфузившуюся гостью, понял ее предположение, и ему сразу стало неловко и стыдно. Чтобы загладить, Яхонтова стала весело хвалить его хозяйственность, угощенье. Тра-

вин молча смотрел на нее. Поймав этот взгляд, Анна Петровна снова смутилась и неловко проговорила:

– Что же, она придет? Выйдет довольно глупо, если я приехала только для того, чтобы выпить у вас чая.

– Конечно, это не очень мне лестно, то, что вы говорите, но я понимаю ваше волнение. Ревекка Семеновна обещала прийти и, вероятно, придет.

85

– Разве вы говорили ей?

– Да.

– Какая неосторожность! Я же вас просила не подчеркивать.

– Так вышло.

– В сущности, конечно, все равно, но лучше бы более просто сделать.

В двери постучались. Анна Петровна снова заволновалась:

– Боже мой, может быть, это она, а я ничего не помню, все позабыла, даже не посоветовалась с вами!..

Она зачем-то открыла и закрыла сумочку, вынула платок, опять его спрятала, опустила вуаль и затихла.

– Нельзя же так волноваться! – шепнул ей Травин и добавил громко: – Войдите!

Он сам почти не узнал вошедшей. Скромно и лукаво потупясь, в переднике, с тарелкой в одной руке и сухарницей в другой, вошла девица Штек, сделала книксен гостье, поставила домашнее сладкое печенье двух сортов на стол и, сказав: «На здоровье любезной гостье», –

сделала движенье уйти. Даже волосы заплела на две косы.

– Пойдите немного, Ревекка Семеновна, посидите с нами. Выпейте чаю, будьте гостьей. Только напрасно вы меня так балуете, печенье принесли.

– На здоровье, оно еще теплое.

Ревекка снова быстро присела.

86

– Позвольте вас познакомить: Ревекка Семеновна Штек, Анна Петровна Яхонтова.

Ревекка быстро вытерла руку передником, будто она была у нее еще запачкана в муке или сахарной ванильной пудре, и протянула ее Анне Петровне, которая даже не привстала с дивана. Яхонтова смотрела с удивлением, почти с негодованием на эту процедуру, но пожалала протянутую руку и что-то пробормотала. Ревекка села на кончик стула и начала болтливо угощать принесенным печеньем. Даже Травин несколько раз тревожно взглядывал на девицу Штек, но та, казалось, ничего не замечала и продолжала безоблачно лепетать всякий вздор. Наконец гостья довольно мрачно заметила:

– У вас очень сухая, кажется, квартира.

Ревекка обрадовалась.

– Сухая, очень сухая – даже мебель трескается. Онкель любит, когда сухо. Всякий любит, когда сухо. Он старый, очень старый человек, онкель. Его фамилия Сименс. Есть много людей, которым фамилия Сименс. Это очень обыкновенно. Мы – мещане. Что же скрывать? Не правда ли? Смешно, если бы мы держали себя, как бароны, –

тогда незачем комнаты сдавать. Ваш знакомый, г<осподин> Травин, – очень спокойный господин. У нас все жильцы спокойные. И офицер был спокойный. Только г<осподин> Стремин и ходил к нему в гости. Раньше онкель разводил кенареек, но они подошли. Оклеили стены зелеными обоями, было очень красиво, как ломберный стол, но птицы-дурачки думали, что лес, бились-бились и околели. Сименс закопал их всех на Суворовском проспекте утром. Его чуть не арестовали, думали – бомба. Они были в сигарном ящике, восемь штук, попарно, четыре пары, самец и самочка, самец и самочка. Была пятая самочка, но самцы дрались, а ее кошка съела. Она была ручная (птичка) и умела сидеть у онкеля на плече, когда он играл. Я ее не любила, потому что завидовала онкелю, а потом ее кошка съела, и я себя корила. Г<осподин> Стремин жалел, что не повесил кошки. Я ему рассказывала и плакала.

Яхонтова зло и громко рассмеялась. Ревекка вдруг остановилась, как идиотка. Во время ее болтовни на Травина напал ужас и он серьезно начал думать, не сошла ли она с ума. Очевидно, что и сама она волновалась, потому что все чаще и чаще пролетали в глазах ее морковные живчики. Анна Петровна, просмеявшись без стеснения, сказала презрительно и ласково:

– Спасибо, душенька, вы очень добры и милы, я думала, вы совсем другая.

– Все думают, что я совсем другая. А я – я, больше ничего. Чего им надо? Г<осподин> Стремин...

– Что Стремин?

– Ах, он такой веселый, такой веселый, все танцует в два па – извращенье! Я в три, а он в два, в пять па.

Анна Петровна, вспыхнув, воскликнула:

– Ну, это вы, милочка, простите, просто врите! Никогда Андрей Викторович не танцует вальса ни в два, ни в три па.

88 – Значит, это был другой.

– Вероятно, это был другой.

– А разве в вас влюблен не Андрей Викторович?

– Что такое?

Анна Петровна строго и пристально посмотрела на девушку.

– Повторите, что вы сказали?

– Зачем же?

– Я не дослышала.

– И хорошо. Ganz gut. Я – непроизвольно.

Яхонтова вдруг поднялась с дивана и с какой яростью обратилась к девице Штек:

– Полно душить! Я вам запрещаю говорить об Андрее Викторовиче, слышите ли, запрещаю.

Ревекка слегка побледнела, но, оправившись, сказала, как и прежде, со странною болтливостью:

– Хорошо, я не буду о нем говорить. Я не знала, что вас это так рассердит. Только неудобно, что вы мне говорите «запрещаю», вы мне не мать, не тетя, я вам не служанка и не виновата, что г<осподин> Стремин любит не вас. Я бы очень хотела, чтобы это было так, как вы жела-

ете, но ничего не могу поделать. А это было бы куда спокойнее нам всем.

Анна Петровна несколько секунд, не садясь, смотрела молча на говорившую, словно не понимая ее слов, наконец чуть слышно произнесла:

– Подлая!

Очевидно, это донеслось до слуха Ревекки и странно ее обрадовало. Быстро и ласково пересев на диван, рядом с Яхонтовой, она взяла ту за руку и почти насильно опустила обратно на подушки. Глаза ее весело и зло блестели, но голос звучал по-прежнему чисто и простодушно.

– Вы любите Достоевского, не правда ли? Я так рада, потому что сама его обожаю! И вы так похожи на его героинь, на разных генеральских и губернаторских дочек!.. Напрасно вы на меня гневаетесь: я не ищу вам зла.

Она не выпускала руки Анны Петровны, то слегка подымая ее, то снова опуская себе на колени. Яхонтова, казалось, начала серьезно бояться. Несколько раз она пыталась освободить свою руку, но Ревекка держала крепко. Наконец гостья будто сломилась и заговорила без напряженности, просто и горестно:

– Что вы со мной делаете? Я вас умоляю сказать: безумны ли вы или надо издеваетесь? Может быть, я сама сошла с ума или вижу сон? Скажите, любит ли вас Стремин и что вы сделали, чтобы так привязать его к себе? Видите, я совершенно откровенна с вами. Будьте и вы со мною такою же! Вы добрая девушка, иначе к вам не стал бы так хорошо относиться Павел

Михайлович. Конечно, вы со странностями, но вы добрая, я это вижу, и вы скажете мне, разрешите мое сомнение. Я ведь за этим и приехала сюда, чтобы видеть вас, спросить...

– Я это знаю.

– Простите, может быть, я сказала что-нибудь лишнее: я ведь нервна, вы сами понимаете. Но вы не обращайтесь внимания и скажите: любит ли меня Андрей Викторович?

90

– Разве вы сами этого не знаете?

– Нет.

– И знать очень хотите?

– Очень, очень! Больше всего на свете! – воскликнула Анна Петровна, пристально глядя на Ревекку. Та отвела свои глаза, усмехнулась слегка и, проворно встав, сказала:

– Подождите немного: через минуту я вернусь и дам вам ответ!

Яхонтова так и осталась сидеть, не спуская глаз с дверей, за которыми скрылась хозяйка. Молчал и Травин. В двери не стучали, они прямо отворились, и девица Штек ввела за руку Стремина.

– Вот кто может ответить вам на ваш вопрос.

Анна Петровна вскочила, возмущенная:

– Что это, Павел Михайлович? Я попала в ловушку? Откуда взялся Андрей Викторович? Неужели он слышал весь наш разговор?

Андрей Викторович, очевидно, также не был предупрежден, что здесь находятся гости; он смутился и неловко раскланивался. Ревекка, введя офицера, тотчас села опять на диван рядом с Яхон-

товой, улыбаясь и, видимо, очень довольная. Анна Петровна опять села, нахмурившись и сжав губы; она подняла было руку, будто для того, чтобы закрыться вуалью, но снова ее опустила. Обе девушки внимательно смотрели на Стремина, и Павлу Михайловичу пришло в голову, как они не похожи друг на друга, хотя он не знал, зачем было бы необходимо подобное средство.

Вдруг Ревекка, порывев от румянца, обратилась прямо к стоявшему у косяка Андрею Викторовичу:

– Андрей Викторович, скажите по совести, любите ли вы Анну Петровну Яхонтову? – ну, вы понимаете, про какую любовь я говорю.

Все вздрогнули, как от пушечного выстрела. Стремин побледнел ужасно, у него так затрясся подбородок, что он принужден был сдерживать его рукою. Шпоры тихонько бряцали, хотя ногами он не шевелил. Одна Ревекка сохраняла спокойствие и даже известную веселость. Все так же глядя на Стремина, она продолжала:

– Вы видите, как все взволнованы, как расстроена Анна Петровна. Не медлите ответом.

– Я не знаю, право... это все так неожиданно, – бормотал молодой человек.

– Фуй, как нехорошо отвиливать! Ну, я переменяю вопрос: кого из нас двоих вы любите по-настоящему, меня или ее? На выбор! – и девушка даже указала рукой на соседку.

Анна Петровна опять вскочила и прокричала:

– Стремин, я вам запрещаю отвечать. Если вы человек благородный, если вы меня уважае-

те, вы промолчите. Не участвуйте в этой недостойной и подстроенной комедии!..

– Чудачка! – тихонько сказала Ревекка, пожав плечами.

– Анна Петровна! – начал было очень громко офицер, но Яхонтова вдруг закрыла лицо обеими руками и зарыдала. Молодые люди бросились за водой, а Ревекка сидела, с упрямством смотря вниз, и заплетала скатертную бахрому в косички.

92

– Проводите меня! – обратилась Анна Петровна к Стремину, когда припадок слез прошел, и, простившись с Павлом Михайловичем, вышла в сопровождении офицера.

Ревекка все сидела, заплетая косички на скатерти. Травину казалось, что совершилось что-то непоправимое и что он чуть как-то виноват. Он молча мазал масло на хлеб и ел кусок за куском, будто собираясь доесть все, что осталось. В комнате становилось темновато.

– Андрей Викторович вернется сюда сегодня?

– Не знаю, он ничего не говорил.

– Ничего не вышло из сегодняшнего вечера.

– Да ничего и не могло выйти!

– Отчасти вы сами виноваты, Ревекка Семеновна, взяли такой странный тон...

Ревекка придвинула к Травину тарелочку с печеньем и себе налила чашку. Помолчав, она вдруг ответила, хотя Павел Михайлович сам почти позабыл про свои слова.

– Вы говорите, странный тон? По-моему, у меня нет никакого тона. Всех это удивляет, вот и вас удивило. Я думала, что вы вообще не удивляетесь. От скромности не удивляетесь. Кажется, считается неприличным говорить о самой себе, но уже подошел такой час откровений. Я не люб-

лю сумерек, но в сумерки обыкновенно делают признания, особенно меланхолические люди. Я сама себя не знаю. Понравится мне герой или героиня в каком-нибудь романе Марлита, или Жан-Пауля*, или Достоевского, – и мне приятно им подражать. И жить легче, и вроде игры какой-то. Конечно, и по выбору можно было бы судить, что я за человек. Вероятно, я очень безлична, что так легко перенимаю вычитанные качества.

Девушка говорила вяло и равнодушно, все время не переставая пить чай и хрустеть печеньями. Травину казались ее слова неестественными и слишком литературными, хотя, по-видимому, Ревекка никогда не говорила так искренне, как теперь. Она между тем продолжала мечтательно:

– Одна история, не помню чья, не выходит у меня из головы, несколько сентиментальная, но трогательная. Может быть, я ее особенно запомнила потому, что героиню там зовут Ревеккой, как и меня...

– Ревеккой?

* В написании имени немецкого сентименталиста и романтика Жан-Поля Рихтера (1763–1825) М. Кузмин использует буквенную транслитерацию французского псевдонима, взятого писателем в честь Ж.-Ж. Руссо, с тем чтобы отметить «немецкий лад» в речи Ревекки Штек (указывать таким способом на немецкое происхождение писателя было бы трюизмом). Примечательно, что в изданиях романа «Цветы, плоды и шипы, или Брачная жизнь, смерть и свадьба адвоката бедных Зибенкейза» 1899 и 1900 годов имя автора дается в привычной фонетической транслитерации: Жан-Поль Рихтер.

– Да. Это была любовная история, всех осложнений которой я уже не помню, но девушка, Ревекка, решила пожертвовать собою для счастья того, кого она любила. Она утопилась в Иматре. А тот человек был успокоен, спасен как-то, так что эта смерть была не напрасной.

Травин посмотрел на девушку с удивлением. Опять показалось ему, что она ломается. Ревекка, кончив, сидела и сонливо вертела в пальцах чайную ложечку.

95

– Вы уверены, Ревекка Семеновна, что вы читали этот рассказ?

– Нет. Может быть, я и сама его выдумала.

– Вы его не сами выдумали, но и не читали, – вы его слышали от меня, и рассказ этот именно про меня. Со мной случилась такая история.

– С вами? Может быть! Я часто забываю, у меня в памяти бывают такие выемки. Вот помню, а рядом забыла, потом опять помню. Это болезненно, разумеется, и утомительно, когда вспоминаешь.

Помолчав, она добавила:

– Жалко, что это не повесть, а действительный случай.

– Почему?

– Может быть, все было не так, как мне представляется, и я ничего не могу поделать, а в повести: как хочу, так и бывает.

– Нет, все это было, только утопилась не девушка, а ее родственница. Ревекка просто умерла.

– Для вас?

– Говорят.

– Вы верите, что это возможно?

– Верю.

– Всего важнее, что ее звали Ревеккой, это всего важнее.

– Почему?

– Ах, имена так много значат, так много значат! Вы не верите этому? Если бы меня звали Юлией, я была бы романтической любовницей, преодолевала бы препятствия и кончила бы трагически*. У меня даже лицо было бы другое, потому что я уверена, что всякий носит такое лицо и такое имя, какого достоин.

Травин ясно видел связь в словах своей собеседницы и в то же время боялся это заметить. Он сделал попытку облегчить, обезвредить этот разговор, переведя его на шутивную беседу.

– А что должен делать человек, который носит имя Павел?

Но девушка ответила совершенно серьезно:

– Не знаю. Я не думала об этом. Я только знаю, что должна делать Ревекка.

– Что же?

– Вы сами знаете, и я вам говорила об этом.

– Вы имеете в виду мой рассказ?

– Да, я имею в виду ваш рассказ и нахожу, что настоящая Ревекка должна пожертвовать жизнью для того, кого любит.

– Но ведь есть и такие Ревекки, которые сами не знают, любят ли они кого-нибудь.

* Юлия д'Этанж, героиня знаменитого романа в письмах Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1757–1760), спасала тонувшего сына, простудилась и умерла.

– Есть и такие.

Травина начинало раздражать, что девушка, отвечая, повторяет слова вопроса, и он сердито посмотрел на Ревекку: та сидела неподвижно с автоматическим и упрямым лицом. В комнате стлался дымок; или самовар чадил, или Павел курил слишком много. Ночные сумерки были в самом темном своем часе. Временами черты сидящей будто исчезали из его зрения, только глаза блестели необыкновенно, почти нестерпимо. Ревекка между тем продолжала:

– Есть и такие: я не из их числа.

Травин с тоскою подумал:

– Хоть бы кто окно разбил, разразилась бы гроза, оркестр грянул бы плясовую, – стряхнуться, стряхнуться! На свежий воздух из сонной теплицы. *Serres chaudes!**

Он не любил никогда Мэтерлинка. Пробовал даже двинуть ногой – не может. Даже страх взял. Вдруг, как во сне сталкиваешь навалившуюся гору, с огромным напряжением воли, переложил с места на место чайную ложечку и хрипло произнес:

– Ведь это же все пустяки, Ревекка Семеновна! Вы никого не любите и умирать ни за кого не станете! Это всё литература!

– Я люблю вас! – медленно проговорила Ревекка, не двигаясь.

* «*Serres chaudes*» («Теплицы», 1889) – сборник бельгийского франкоязычного писателя Мориса Мэтерлинка (1862–1949); составлен из 33-х стихотворений, некоторые написаны верлибром; одна из важнейших символистских книг.

«Вот оно, вот оно!» – колесом пронеслось в голове у Травина. Он вскочил и бегал по комнате, бессвязно и долго восклицал, что этого не может быть. Девушка выслушала, не двигаясь, и повторила:

– Я люблю вас, Павел Михайлович, именно вас. Вы не ослышались, и это оказывается возможным.

98

Травин внимательно взглянул на Ревекку. Лицо ее было неподвижно, только глаза продолжали блестеть, да у бровей быстро дергалась жилка, предвещающая, что скоро эта окаменелая напряженность сменится бурными слезами или мягкой, сердечной расслабленностью. Павел Михайлович сделал последнюю попытку отсрочить, отдалить объяснение, которого, сам не зная почему, так боялся. Он сказал в тон Ревекке:

– А Андрей Викторович?

– Какой Андрей Викторович?

– Стремин.

Девушка потеряла лоб, вспоминая:

– Ах да, этот офицер! Ну и что же?

– Разве его вы не любите?

Ревекка дребезжаще и редко рассмеялась.

– Нет-нет.

– Тогда я не понимаю вас, вашего чувства, вашего поведения.

– Когда я – не я, когда я – не Ревекка, мне нравится быть той, которую хотят во мне видеть. Этому офицеру нужна ведьма, странное существо, демоничка, может быть, злодейка, которая причиняла бы ему зло и имела бы непреодоли-

мое влияние. Вот я и такая, я читала про таких героинь.

– Для вас это – игра, развлечение, а он страдает, может с ума сойти. Я это знаю.

– А я не страдаю, я не схожу с ума? Этого вы не знаете, глупый мальчик? – грозно молвила Ревекка, и жилка быстрее забила на виске. Травин молчал и смотрел, как стихало лицо девушки, наконец глаза потухли, виски перестали биться, розовая теплота окрасила кожу, рот размяк, вновь приобрела способность склоняться шея, и слеза, желтая от рыжей ресницы и медного в ней самовара, повисла, блестя. Эта перемена на глазах происходила сверху вниз, начиная с волос, словно с потолка спускалась мягкая и благостная умиротворенность. Ревекка сказала совсем другим, уже обычным своим голосом:

– Я все помню, Павел Михайлович, и все это правда. Это не бред и не экзальтация чувств. Я люблю вас, давно люблю. Зная, что вы любите дочь генерала Яхонтова, я хотела устроить ваше счастье, устранить с вашей дороги этого офицера. Если бы все удалось, вы бы никогда и не узнали, что это моих рук дело. Вы были бы счастливы. Но я не раскаиваюсь, что все рассказала. Вероятно, так надо было. И не бойтесь, пожалуйста, еще каких-то последствий от моих признаний. Взаимности я не ищу, я знаю, что это невозможно! Вот...

Ревекка кончила и сидела, как задумавшаяся купальщица. Рассеянная и жалостная улыбка, какой еще не видал у нее Травин, подымала углы

по временам ее слишком большого рта. Павлу сделалось тепло и приятно, словно в детстве, когда на плечи и грудь льют теплую-теплую воду из губки мама и няня, нагретая простынка ждет, а в углу у печки качается кисейная кровать. Но <он> отогнал это чувство, потому что к нему примешивалось что-то, чего он не понимал: запретное, чуть-чуть сомнамбулическое.

– А это не литература, все, что вы говорите, Ревекка Семеновна? Из какого-то романа?

– Литература? – медленно переспросила девушка и вдруг, не вставая с дивана, привлекла к себе Травина и крепко его обняла, не целуя. Травин чувствовал сухую теплоту ее рук и приторный, пресный запах, словно Выборгского кренделя. Посидев так несколько минут, Ревекка сжала его еще сильнее, будто на прощанье, отпустила руки и задумалась. Лицо ее было розово и спокойно, рыжеватые зрачки расплылись неопределенно и нежно. Травин смотрел на нее удивленно; она стала ему после этого короткого объятия понятнее, ближе и дороже. Девушка, взглянув, улыбнулась нежно и жалостливо (опять жалостливо!).

– Вот, Павел Михайлович, какие дела! Плохая у вас оказалась вторая Ревекка, не могла довести до конца своего дела. Первая, та не размякала, не разводила сентиментальностей, крепкая была девица!

Она развела шутливо руками. Травин взял ее руку и поцеловал, между тем Ревекка продолжала:

– Но дело еще поправимо, не правда ли? И потом, кто знает? Может быть, кое-что и удалось, может быть, этот офицер надолго пленен своей рыжею ведьмой. Тогда она может удалиться, и все-таки дочь генерала Яхонтова останется, и свободной, и заметит, оценит вашу любовь.

– Зачем это?

– Разве вы этого не хотите? Разве вы не любите Яхонтовой? Не хотели бы видеть ее свободной и внимательной к вам?

101

Ревекка спрашивала так, будто задавала совсем другие вопросы, от которых зависело важное и непоправимое решение. Павел отлично это почувствовал, даже догадался, какого чувства от него ждут. Но слова девушки так ясно ему напомнили образ той, другой, теперь покинутой, оплаканной, печальной и благородной, что он почти перестал видеть сидящую рядом с ним Ревекку, милую, нежную и таинственную. Он еще раз поцеловал у нее руку. Ревекка глядела вопросительно.

– Вы совершенно правы, Ревекка Семеновна! – ответил он на ее взгляд.

Девушка не побледнела, только перестала улыбаться.

– Я так и думала, так и думала... вы не виноваты. Это от слабости, иногда в голову попадают смешные мысли.

Наконец она встала, но не могла ступить, оперлась на стол и пробормотала смущенно:

– Ногу отсидела!

Травин заметил, как быстро билась теперь уже на розовой руке неровная жила.

– Однако совсем светло. Будет прелестный день. Вы, Павел Михайлович, не занимайте сегодняшнего вечера, у меня есть один план. Я думаю, ничто не помешает ему осуществиться.

– План?

102 – Да... прогулка и не более. Вы непременно должны принять в ней участие. Если вы не свободны, нужно будет ее отложить.

– Я, кажется, не занят.

– Отлично. Теперь спокойной ночи. Ужасно засиживаться всегда. Ложитесь скорей, не убирайте. До свиданья.

Она все стояла, опершись на стол, попробовала ступить еще раз и проговорила, сморщив нос:

– Вот отсидела ногу.

– Позвольте, я вам помогу.

– Пожалуй.

Она оперлась на его руку и, прихрамывая, пошла по гостиной и коридорчику до дверей кухонных. Травин провел ее и по лестнице до их квартиры и до ее комнаты. У дверей они простились. Пока Ревекка говорила с ним, приоткрыв двери, Павел Михайлович рассеянно смотрел на два закисеенных окна, белую мебель и белую (странно белую) нетронутую постель, будто для умершей.

День был, действительно, прелестен, как обещало утро. Еще не побледневшая от летнего жара, непривычная, сама словно удивленная синева стояла над медленным, влажным воздухом. Ветра не было, и облака, безо всякой розоватой дымки, ясно и прямо лежали неопишуемой белизной. Радость была торжественной и несуетной.

Травин был словно разбитым после вчерашнего разговора. При взгляде на необыкновенную важность неба, более архитектурного, чем когда бы то ни было, сладкое и тревожное, очень ответственное какое-то чувство говорило ему, что вчерашнее объятие и любовь Ревекки не сон, но чем непонятнее, тем необъяснимее для него они были.

Он не пошел к Анне Петровне, которую он любил, даже не вспомнил, что она в квартире генерала Яхонтова, где все так прочно и незыблемо, может быть, предается самой бесформенной, самой дикой печали. Встал он поздно и все время ждал тихонько какого-то происшествия. Часов в пять в комнату постучали. Павел Ми-

хайлович так взволновался, что не мог даже сказать «войдите».

104

«Так, наверное, стучат в двери осужденного, чтобы вести его на казнь!» – быстро подумалось ему. Он вскочил, оправил постели, но молчал. Постучались еще раз. За дверями тихо звенели шпоры и весело смеялась Ревекка. Наконец двери открылись. У обоих вошедших были сияющие лица, даже Стремин потерял, казалось, врожденное ему надменное и печальное выражение. Ревекка была вся в белом, с яркой желтой лентой у плеч. Говорили весело, но не шумно, не торопливо. Как и погода, были радостны, но важность и непоправимость неизвестного решения делали несколько задумчивой эту веселость.

– Вы спали? Мы стучали, никакого ответа, простите, что мы так ворвались. Мы с Андреем Викторовичем вас похищаем. Смотрите, какой чудный день. Прогулка удастся на славу. Нам всем не мешает развлечься от всевозможных сложностей. На сегодня забудем все истории и поедемте кататься на лодке.

Ревекка говорила отрывисто и быстро, словно боясь, чтобы Травин не прервал ее. Блеск и радостная улыбка не сходили с ее лица, хотя и имели какой-то насильственный, внешний характер. Стремин был радостен гораздо проще, и смущенность его улыбки происходила, по-видимому, только от непривычки к веселому настроению. Он стыдился быть счастливым, как будто он от этого глупел. Известная стесненность чувствовалась в обоих, как бывает у же-

ниха и невесты или у только что благополучно объяснившихся влюбленных.

– Как вы сияете! – заметил Павел.

Ревекка быстро глянула на офицера и воскликнула:

– Андрюша... (Андрюша!) я забыла у онкеля сумочку. Принесите ее сюда, будьте добры.

Стремин некстати рассмеялся почти громко и легкими шагами вышел за дверь. Девушка приблизилась к Травину и быстро-быстро заговорила, торопясь поспеть в эти пять минут все рассказать:

– Сияем. Он счастлив, его фикция осуществилась, может быть, и моя тоже близка к осуществлению.

– Вы обвенчались? – почти с страхом спросил Павел.

– Нет-нет. Сегодня вторник*.

– Что же тогда? Я не понимаю. Вы – жених и невеста.

– Почти. Но это не важно, раз сегодня... состоится эта прогулка.

– Почему?

– Долго объяснять. Вы все увидите, все поймете сами.

– Сегодня?

– Да-да. Вот еще что. Я, может быть, совершила дурной поступок с точки зрения общепринятой морали, но, понимаете, это не важно. А важно,

* В православной традиции не венчают накануне постных дней, то есть сред и пятниц, и воскресений.

что сделанное мною сделано крепко. Вы можете быть покойны.

– Как мне быть покойным, когда вы вся дрожите!

– Стоит ли обращать на это внимание! Разве у мученика не могло быть флюса?

106 – Послушайте, милая Ревекка, я последний раз вас спрашиваю: не литература ли все это? Было бы невыразимо жаль, если бы литература, выдумка имела какие-нибудь невыдуманные и непоправимые жизненные последствия...

Девушка яро взглянула на него и ничего не сказала, тем более что в комнату, напевая, входил Стремин. Беззаботность снова вернулась на лицо Ревекки. Она заторопилась ехать, смеялась, болтала, открывала и закрывала безо всякой видимой надобности сумку, садилась, вскакивала, снимала и надевала шляпу. Даже Стремин заметил ее взволнованность и удивленно на нее посмотрел. Ревекка присмирела, но радость не сходила с ее лица.

– Едемте! – наконец пригласила она, хотя задержка была только за нею самой.

Стояли уже долгие майские дни, когда шесть, семь часов вечера похожи на два часа дня. Голубая вода золотилась к краям широких и спокойных волн, лодка с красными бортами, заранее, очевидно, заказанная, приветливо каталась у спуска, уже придерживаемая багром лодочника. Травиным все более овладевало какое-то беспокойство, несмотря на беззаботность его спутников. По дороге говорили весело, особенно Ревек-

ка, обращая внимание, как ребенок, на всякую мелочь: пролетевшую птицу, зазеленевшие деревья в Летнем саду, желтовато-прозрачные, ясность, с какою видны были здания Выборгской стороны, приветливое лицо встречного. Даже красный угловой дом у моста казался ей новым, никогда не виданным.

– Что с вами, Ревекка Семеновна? Вы будто только что родились, всему так радуетесь.

107

– Ах, не завидное ли это чувство, Травин! Я жалею вас, если вы его не понимаете. Поэт сказал бы – вот сила любви!

Стремин украдкой благодарно пожал ей руку. Ревекка удивленно взглянула на него, словно забыв даже, что он здесь находится, потом сообразила и улыбнулась ему.

– Может быть, я не только что родилась, а прощаюсь. Первый и последний раз так похожи друг на друга! Они близнецы, Травин, больше, чем сон и смерть.

Дворцы и сады быстро проплыли вверх по течению, вскоре пролетели здания порта, более широкая поверхность воды делалась бледнее и спокойнее, совсем белея к белому горизонту, порозовевшие низы синего востока только одни говорили о близости вечера. Ревекка, сидя на носу лодки, смотрела на обоих молодых людей с покровительной нежностью, как многим старшая. Травин сам будто в первый (может быть, последний) раз смотрел на розовое, такое милое и детское лицо девушки, еще более прозрачное от желтых лент, что тихонько вздымались, тре-

петали секунду и снова ложились у плеч. Она заговорила, словно загадывая загадку:

– Вам ничего не напоминает этот вечер?

Отозвался офицер:

– Он ничего не напоминает, не может напоминать, потому что он – единственный, на всю жизнь единственный, неповторимый, счастливейший.

108

– Единственный, неповторимый, счастливейший! – повторила Ревекка с ударением и вдруг запела:

*Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen
Gleitet, wie Schwane, der wankende Kahn...*

– Зачем, зачем это? – вскрикнул Травин, вспомнив и этот романс Шуберта, и худенькое лицо другой, давнишней, Ревекки и с ужасом видя какую-то тревожную связь между двумя вечерами. Девушка мрачно улыбнулась.

– Теперь поняли? Вы вообще не очень сообразительны, г<осподин> Травин.

Допев до конца, она попросила повернуть обратно.

– Я хочу видеть море и солнце, довольно с меня труб и зеленых берегов... довольно земли! Какая розовая становится вода!

Ревекка, низко наклонившись, смотрела на ясное отражение, трепетавшее, розового лица, желтых лент и белой, белой опущенной руки.

– Осторожнее, барышня! – проговорил лодочник. Травин никак не мог сообразить (Ревекка

была права, он не был быстр на соображение), как это могло случиться. Лодка уже повернула, солнце, склоняясь, светило в лицо, еле видный дымок серел у Кронштадтских фортов, летела как деревянная круглотелая чайка, но Ревекки... но Ревекки... не было за спиною. Она так тихо скользнула в воду, что лодка почти не колыхнулась, секунды две все молчали... донесся далекий гудок, мирно... широкие круги словно подгоняли еле заметные, пологие волны. Опомнились, когда саженьях в двух вынырнула голова девушки. Она показалась прямо, ни рук, ни плеч не было видно, и качалась вверх и вниз, как пробка. Павел Михайлович едва сознавал, как очутился в воде. Стремин и лодочник кричали, раздеваясь. Голова Ревекки совсем близко, все качается. Ему видно, как по ее глазам проходит страх, почти ужас, между тем как улыбающиеся губы шептали «не надо, не надо», потом захлебнулись, тяжело дыша, опять проговорили:

– Это совсем не так...

Травин схватил уже ее, как вдруг показавшиеся руки крепко вцепились мокрыми пальцами ему в шею. Исчезло солнце, не стало слышно фырканья других двоих, пливших аршина за полтора. Сквозь зеленую воду расплывалось лицо Ревекки*, глаза ее были закрыты, и рот про-

* Тема «зеленой воды» в дальнейшем получила развитие в сцене 6 пьесы «Прогулки Гуля» (1924), где Маша запугивает своего возлюбленного Валерьяна: «Брошусь <в омут>, сделаюсь бледной-бледной, волосы распустятся, водоросли обовьются, все будет зелено»,

должал растягиваться в улыбку. Ее руки закос-тенели и с силою тянули Травина вниз, в ушах непрерывно звучали колокола, ему казалось, что уже раза три его ноги касались вязкого дна. С силою оторвав ее руки от шеи, Павел выплыл, снова погрузился, теперь уже его подхватила чья-то рука. Голова Ревекки показалась еще раз и даже прокричала:

– Андрюша, не забудь!

Ревекку вытащил Стремин, лодочник спас Травина, гребли к ближайшему берегу торопливо, с трудом. В каком-то незнакомом леску пристали. Три-четыре случайных человека безучастно помогали приводить в чувство как-то сразу посившую девушку. Мокрый и дрожащий Травин смотрел, как во сне. Усилия оказались тщетными. Дребезжащий извозчик ждал, лошадь косила и ржала, и старик хлестал ее по впалым бокам. Солнце совсем садилось. Какие-то более старые, древние воспоминания кружились в голове Павла Михайловича настойчиво, как вагнеровский мотив Рейна*.

– И я, и я! – закричал он, когда тело осторожно клали на неудобную пролетку.

и в «Седьмом ударе» (а «зеленой рекой» – и в «Девятом») поэмы «Форель разбивает лед»: «Намек? Воспоминанье? / Все тело под водой / Блестит и отливает / Зеленою слюдой» (1927, публ. 1929).

* Один из главных лейтмотивов оперной тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга» звучит в первых тактах оперы-пролога «Золото Рейна» и передает мерное колыхание волн реки на восходе солнца.

– Конечно, и вы! – серьезно ответил Стремин, будто только сейчас заметил Травина. Его лицо было серьезно и страшно бледно, бледнее утопленницы. (Боже мой! Боже мой, утопленницы! Г<осподин> Векин – утопленница! Что будет с онкелем без его полицмейстера? Что будет со всеми нами?)

Трясаясь через весь город (ехал ли с ними, с ним и с Ревеккой, городской или Стремин, он не помнил), Травин все ждал, когда к нему спустится покой. Желтые ленты жалко прилипли ко вдруг высушенной, плоской груди, обтянутой мокрым платьем. Конечно, ехал Стремин, и, конечно, он взят накрепко, как говорила покойная. Значит, Анна Петровна свободна?! Теперь это казалось чудовищным. Травин быстро и мелко закрестился на цыганскую церковь. Инвалид у богадельни закрестился, кажется, на них. Вдруг он услышал голос офицера. К удивлению, тот говорил вполне вразумительно:

– Я завезу вас домой. Вам нужно лечь. И потом, вам нельзя слишком долго оставаться с нами. У вас жар, и вы дрожите.

– А она? А она? – забился Травин.

– О Ревекке Семеновне не беспокойтесь: я остаюсь при ней.

Да, тут уже нет ему места. Но ведь он ни в чем не виноват! всю жизнь он отдал бы, чтобы желтая лента снова трепетала, делая более прозрачным милое, розовое лицо.

Прошли недели. Павел Михайлович пришел в себя. Его посещал Стремин. От него он узнал о похоронах Ревекки, о смерти онкеля Сименса; о дочери генерала Яхонтова – ни слова, будто ее не было на свете. Ревекка была права. Травину хотелось рассказать всё офицеру, разрушить его серьезные и романтические иллюзии, но лукавый розовый рот, чудилось, ему шептал «секрет, чур», и палец к нему предостерегательно и шутливо прикасался, заставляя молчать.

В передней стояли приготовленные сундуки. Анна Петровна была в черном, как в трауре. Оставя открытым комод, она подошла к Травину и заговорила вполголоса, мерно:

– Хорошо, что вы поправились. Я не была у вас, мне было бы тяжело вас видеть, но я посылала узнавать о вашем здоровье. Я ведь все знаю. Утром того дня несчастная мне писала, радуясь, как хорошо она все устроила. Если она видит всех нас, ей нечему радоваться. Все разбито из-за детского сумасбродства. Может быть, у вас тоже есть надежда, вы поверили вашей спаси-

тельнице. Напрасно. Теперь я вас ненавижу. Конечно, время все излечивает, я уезжаю надолго, Бог знает, как и когда мы встретимся. Мне жалко вас до слез, но мне и самое себя жалко. Я не героиня. И потому уходите, Павлуша, скорее.

И она снова нагнулась к комоду.

114 Текст печатается по беловому автографу: РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. № 21. Л. 45–156. (Первая часть архивной единицы хранения, л. 1–44, является беловым автографом повести М. Кузмина «Картонный домик».)

На титульном листе автор зафиксировал время работы над повестью: «1917 ноябрь–декабрь | 1918 январь–февраль); там же, но другою рукой сделаны пометы: «Альманах „Эпоха“ | Кожебабкин». В конце текст подписан «М. Кузмин».

При подготовке текста публикаторы постарались максимально приблизить орфографию и пунктуацию к современным нормам русского языка, сохранив особенности авторского написания и произношения.

Сердечно благодарим коллегу Александру Пахомову за предоставление текста Дневника М. Кузмина, готовящегося ею к печати (Издательство Ивана Лимбаха).

М. Кузмин. Две Ревекки. Прага: Митин журнал;
Краснодар: Асебия, 2024.

Книги издательств можно скачать на сайтах:

<http://kolonna.mitin.com>

<https://asebeia.su>

Отпечатано в типографии
«Девственный Виктор».

346893. Ростовская область,
г. Батайск, ул. Двадцатого Мытарства, 93.